



Владимир Лидский

Сказки нашей крови



18+

Владимир Лидский  
**Сказки нашей крови**

«Автор»

2017

## **Лидский В.**

Сказки нашей крови / В. Лидский — «Автор», 2017

«Сказки нашей крови» — сложное полифоническое произведение, повествующее о шести поколениях одной семьи. Это династический роман, в котором судьбы героев непостижимо переплетаются и на протяжении веков оказывают мистическое влияние друг на друга. Брутальный текст, в котором соединились война, любовь, поэзия, и всё это — на фоне грандиозных исторических катаклизмов, потрясавших Россию не одно столетие.

© Лидский В., 2017

© Автор, 2017

... и в любом случайном порезе, когда кровь выступала из раны и бежала тонкой струйкой по моей коже, никогда я не видел ничего сверхъестественного, а ведь было, было нечто необычайное – следовало только научиться видеть... я – не видел и не мог видеть, я ещё не научился, но зато теперь, уже подходя к берегам таинственной реки, дальние очертания которой теряются во тьме, я начинаю что-то понимать... я останавливаюсь у воды, клубящейся ледяными испарениями и, едва сдерживая слёзы, перебираю по дням всю свою так быстро пронёсшуюся жизнь: что осталось мне нынче, когда исправить какую-нибудь хотя бы и самую малую малость уже нельзя? – ничего!.. ничего не остаётся, я могу лишь корить да казнить себя за сделанное, а पुше того, – за несделанное, и вот: я стою на этих последних берегах и трепещу, неодетый, на колючем морозце, глядя, как косматый туман ползёт по тусклой ряби воды, как медленно, с сухим шелестом, словно жалуясь – без надежды на отклик – колышется влажный кустарник, торчащий там и сям вдоль песчаной косы, и сумеречные облака нависают над дальним лесом... и вот только тут, в последние мгновения свои начинаю понимать кровь – вязкую солёную жидкость, в которую столько всего вмешивают эпохи, – кровь народов, кланов, семей, льющуюся по планете от века... она дымится на холоде и застывает багровым студнем, если случается ей быть отворённой, и тогда «отворите мне кровь!» звучит так же точно, как «поднимите мне веки!», но если она ещё взаперти и бежит с глухим шумом по своим голубым руслам, то какие оркестры слышатся в ней, и какое клокотание тысячеградусной магмы! – крики о помощи тонут в её глубинах, мелькают чьи-то головы, руки, ноги, алебарды и палаши, вот в алой пене является лошадиная морда, а вот волны вздымают обломки кораблекрушения... эта кровь пахнет порохом и дымом сожжённых селений, гнойными бинтами и солдатской кашей... вспаханной снарядами почвой и прогорклым потом ржавых шинелей, но... в тот же час пахнет она липовым цветом, свежим сеном, речными водорослями и нагретшимися на солнце соснами, женским телом, распаренным в банной неге, и кожей младенца, садовым яблоком, смолодиным листом да новогоднею мандариновой коркою... и так, оставляя уже окончательно свои путанные мысли и машинально включаясь в реальность, Артём хотя и с трудом, но всё-таки пробился к выходу, откуда всякую песчинку выносил на перрон поток людей, – здесь, едва успев осмотреться, герой с ходу ввинтился в плотную, толпу и с трудом протиснулся к поезду, штурмом взял тамбур и увидел себя как бы со стороны в набитом озлобленными людьми вагонном коридоре, – искать себе место было бессмысленно, и Артём сиротливо притулился на краешке сиденья в самом последнем купе, – возле туалета, благоухающего с победительным торжеством... уюмившись и обняв свой рюкзак, Артём приготовился пережить как-нибудь далёкий неприятный путь, который ранее преодолевался с весельем и даже вдохновением, потому что в прежние, особенно ещё советские годы, бывал он наполнен ядрёною водкою под салы́ц с чесночком и душистой чернушкой, вечерним чаем в неизменных железнодорожных стаканах с металлическими подстаканниками, задушевными разговорами да русско-украинскими припевами, которые были одинаково любы всем без исключения пассажирам, мирно коротающим время в недалёком пути... а теперь... теперь Артём сидел стиснутый с боков потными, вскоченными людьми с опрокинутыми лицами и думал: а удастся ли вообще доехать до Москвы? он так устал от событий и страха последнего времени, что сонный морок напал на него ещё до отправления поезда: мутными глазами Артём глядел вокруг и чувствовал себя попавшим в какие-то давние события, виденные когда-то в кино, – в старых фильмах о злобных белогвардейцах и благородных красных героях; он сидел и с недоумением смотрел в окно: толпы беженцев продолжали штурмовать вагоны, – небритые мужики, с горящими глазами, какие бывают обычно у лихорадящих больных, расталкивая толпу, пропихивались к вожделенному поезду и грубо оттесняли растрёпанных баб, истово обнимавших младенцев... бабы истерично выкрикивали что-то и всё пытались приблизиться к зияющим вагонным тамбурам, но это им плохо удавалось... над головами беженцев, волнуемые непредсказуемым людским потоком, плыли узлы, чемоданы, баулы, и сложенный алый зонтик протыкал пространство, явственно

слышался отборный мат и издалека, со стороны локомотива доносились женские крики, в которых звучало столько отчаяния и страха, сколько звучит иной раз на пустыре подозрительной окраины, куда прохожий лишний раз и не забредёт, опасаясь быть битым, а вот занесёт же чёрт, помогая сократить дорогу, и как раз услышишь вопли жертвы, подвергаемой насилию... и всё это грозное электричество, скопившееся в недрах безумной толпы, искало выхода, и может быть, некто, зажатый со всех сторон потными телами, сжимая в отчаянии липкую рукоятку пистолета, притаившегося в тайном кармане пропотевшей насквозь блузы, лишь только ждал очередного приступа безумия, чтобы выхватить оружие и, яростно размахивая им, начать расстреливать дрожащее от зноя небо... и Артём вовсе не удивился бы, услышав выстрелы, потому что они – принадлежность и непреложная необходимость любой войны человека с человеком... тут поезд дрогнул и завывла сирена локомотива, в которой тоже слышались ноты безумия и безысходной скорби... толпа колыхнулась в бессильном порыве и заголосила, волнуясь... поезд медленно тронулся и... поехал... кто-то ещё пытался повиснуть на подножках, уцепившись за поручни, но почти никому это не удавалось, люди срывались и кричали что-то вслед набирающему скорость поезду и счастливицам, которым судьба улыбнулась несмотря ни на что, вслед машинисту, глухими ругательствами сопровождающему начало движения, и судьбе, немилостивой и немилосердной – к оставшимся... глухой шум доносился с перрона... в окно купе всплыли гигантские буквы В, О, К, Б... поезд дёрнулся и застыл на мгновение, словно споткнувшись о невидимую преграду, вздохнул обречённо, тяжело, и вновь двинулся, открывая взгляду пассажиров последние буквы, – Р, А, Х... и вот уже здание вокзала окончательно отодвинулось назад, и потянулись прочь от города пристанционные строения, пакгаузы, щербатые каменные сараи и блестящие веера рельсов... платформы, стрелки, тупики, светофоры... вот показался пыльный пригород с его чахлыми деревьями, кривыми дорогами и серыми, забывшими побелку мазанками... редко появится на просёлке озабоченный работяга, редко войдёт в палисадник растрёпанная тётка в засаленном переднике и вовсе уж не видно на засохших лужайках голоногих мальцов... вот и пригород уходит в сторону и открывается постепенно сначала полевая, а потом и лесная даль... на откосах путей видны поваленные деревья, хворост, старые шпалы и бытовой мусор... наконец поезд вырывается на простор, набирает скорость и несётся, несётся, убегая от смерти, рвущихся снарядов и свистящих пуль, – прочь от сожжённых домов профсоюзов и разбитых артиллерией деревень... не уснуть, не забыться усталым пассажирам, хоть и наступает наконец относительная тишина... лишь колёса стучат в странном согласии с твоим измученным сердцем, которое знает уже многое, а предчувствует ещё больше... и вот в совершенном смятении и с болью в груди добирался Артём с вокзала до квартиры бабушки; столица встретила его моросью и весенней прохладой, – замёрзнув в легкомысленной одежонке, он не чаял уже побыстрее войти в знакомый каждой своею трещинкою подъезд, подняться на девятый этаж и вдохнуть наконец запах давно утраченного детства... запах действительно был родной, и сердце его так откликнулось, дрогнув, что он чуть не заплакал, вспомнив бабушку и родителей, которых давно не было в живых; и сестру, прозябающую за холодным морем, и друзей-подружек, тоже потерянных среди недавних катаклизмов, в неразберихе и кровавых междуусобицах последних десятилетий... где все эти друзья, подружки, родственники, разбросанные историческими вихрями по таким местам, о которых мы и не слышали раньше? – время стёрло их адреса, разметало телефоны и уж никогда, никогда не вернуться нам в прошлое, где было столько счастья, света и благожелания... никого не осталось, все ушли, даже места дорогих могил порой неизвестны, а у некоторых и могил нет... как у бабушки или, например, у дедушки: вот же бабушка, Евгения Осиповна, пережившая революционные потрясения, эмиграцию и Гражданскую войну, позорную высылку, циничную тиранию и ещё много чего, да не пережившая *перестройку*, запретила хоронить свой прах до тех пор, покуда не найдётся могила мужа её, Леона Максимовича, а в другой жизни – Леванта Максудовича, гордого татарского князя, эсера-террориста, дважды назначен-

ного к казни и дважды бежавшего её, погибшего от предательской руки бывшего друга своего и похороненного в безымянной братской могиле вместе с сотнями, а, может, и тысячами таких же... невозможно было предсказать эту судьбу, как предсказывали подобные судьбы в иные времена, когда юные отпрыски древних родов с отчаянной дерзостью заступали в жизнь, начиная свои славные карьеры, – учились в кадетских корпусах, юнкерских училищах, университетах, а потом служили Отчизне, прославляя её своими именами, вот тогда, во времена Империи ещё что-то и можно было предсказать, когда судьба и карьера в обозримом будущем с небрежной лёгкостью прозревались и во все лета оставались на виду... а тут... тут только прах в конце пути, и ничего больше... итак, прах бабушки стоял на полке в запылённой урне, – рядом с её любимыми романами, словарями и многочисленными изданиями Гейне, которого она с юности переводила, – эта жизнь, эта трудная дорога, означенная вешками разочарований и потерь, достойна была бы отдельного труда и особого упоминания в летописном гроссбухе нашего отечества, да вот станет ли кто-нибудь, хотя бы и владеющий методою исторического разыскания, недоступною, к примеру, ленивому школяру или нерадивому аспиранту, тратить драгоценное время на описание некоего примитивного винтика, ничего и не сделавшего для страны... а и винтиков этих были мириады, ибо каждый из нас, бывших *советских*, даже сам считал себя винтиком, который при надобности легко можно заменить, – а чего не заменить? шляпки одинаковые и резьба похожая, диаметр только подобрать; этот *винтик*, прах коего стоял уже много лет на книжной полке в однокомнатной квартире, крепкий и вовсе не ржавевший в течение многих десятилетий, потому что изготовлен был из дореволюционной легированной стали по рецепту Роберта Эббота Гадфильда, был только с виду вполне обыкновенен, как может быть обыкновенен рядовой учитель, всю жизнь свою преподававший *Deutsch* и через него, кстати, некоторым образом отчасти пострадавший, потому что носитель чужого языка в нашей стране в известные годы почти непременно становился шпионом, хотя, нет, не становился, конечно, а рано или поздно начинал считаться таковым; так вот, был всё-таки этот винтик обыкновенным только с виду, ведь бабушкина родовая линия несла с собою колдовскую кровь, которая текла вроде бы спокойно, размеренно, вовсе не выходя из берегов, но то была иллюзия, волшебный обман, ведь в реальности она кипела и рвалась наружу для каких-то лишь ей одной известных подвигов, – Артём стоял в душевной квартире посреди запахов безвозвратного детства, – крепких и, казалось ему, ставших за десятилетия ещё крепче, а кровь шумела в голове у него, как морской прибой, и в этом шуме слышалось ему весёлое застолье, – короткие ноты хрустала, соприкасающегося под весёлый смех, и мелкий дребезг мельхиора о фарфор, раскаты отцовского баса, чей-то быстрый шёпот, и гитарный перебор... и из-за ширмы, где он обычно спал с сестрой, был виден край комнаты, заполненной оранжевым светом, исходившим от низко висящего над столом абажура... заглядывала мама, – посидев с минуту, молча целовала детей и возвращалась к гостям, а потом за ширмой появлялась бабушка и с ней уж можно было пошептать всласть, ведь она не была таких строгих правил, как родители, – могла и колыбельную спеть, и сказку рассказать... так Артём, стоя на пороге комнаты и слегка прикрыв глаза, медленно вдыхал запах потерявшейся эпохи, запах, в котором звучали ещё едва слышные ноты имбиря и корицы, слежавшихся книжных страниц и картонных переплётов, подлечиваемых иногда клеем из крахмала, и едва уловимые, абсолютно прозрачные ароматы гефилте-фиш, валокордина и герани, задетой неосторожною рукою при попытке влезть на подоконник, чтобы открыть тугую форточку... итак, бабушка рассказывает сказки, и вскоре уже спит сестра, а он, изо всех сил борясь с вязкою дремотой, пытается дослушать, дослушать... дослушать... оглянись, пусть даже через силу: эта хрупкая стеклянная жизнь, оставленная за твоею равнодушною спиною, всё ещё зовёт тебя, всё ещё просит не забывать – прекрасную балерину и стойкого оловянного солдатика, а может, пастушку и трубочиста... видишь ли? вон стоят они, держась за руки, а поодаль – Гензель и Гретель... и другие герои, множество других... я оглядываюсь – я ли это или мой бедный персонаж? – а

там, посреди жемчужных сумерек ушедших лет – смешной кудрявый мальчик в коротеньких штанишках, вертлявый, черноглазый, непоседливый, который ещё ничего не знает, ни-че-го не знает... а бабушкины сказки звучат всякий раз, как детям нужно уснуть, и в них совершает свои баснословные подвиги и преступления гордый крымско-татарский князь Левант Максудович, в другой жизни – начальник городского НКВД Леон Максимович, – их фантастический, а лучше сказать, – мифологический дед, далёкий потомок Хаджи Селим Гирея, четырежды самовластного крымского правителя и сына хана Бахадыр Гирея, писавшего чудные стихи о райских садах и нежных пери... сколько сказок! и каких! с какой начать? и бабушка всегда начинала *ни с какой*, откуда-то с середины, с обрывка, с фрагмента, зачастую опускавая начало или предысторию, а то и рассказывая лишь финал, отчего рассказы эти приобретали характер безумного сказания, эпоса; эти предания, былины, легенды – всё было правдой, и Артём верил всему, холодея порою от страха под своим старинным верблюжьим одеялом, – так страшны и зловещи были истории бабушки, отложившиеся в нём навсегда и давно уже ставшие сутью его, кровью его... хочешь – вспомни: как ходил Бахадыр Гирей, имея содружество с гетманом Павлюком, на Буджацкую орду, а Кантемир, её водитель и сам потомок Едигея, золотоордынского темника, положившего, между прочим, начало Урусовым и Юсуповым, – яростно оборонялся, – и не зря прозван был Кантемир Мурза – Кровавый Меч, ибо сражался он всегда, как лев, и всегда же побеждал, но не в этот раз:

Бахадыр Гирей, воевавший Крым, добывал полуострову независимость от империи османов – и добыл! – потому как запорожцы и крымцы *в малом числе победили и в прах обратили многочисленного неприятеля*... а Павлюк, кстати, верный друг и соратник Бахадыр Гирея, был, по слухам, покрещённым турком и носил в своей короткой жизни столь имён, сколь могли носить только самые отъявленные аферисты: Павлуга, Паулус, Палий, Баюн, Бут, Карп Павлович Гуздан, Павло Михнович или просто Полурус... страшную судьбу уготовил ему беспощадный рок: за предводительство в бунте против шляхты с него заживо содрали кожу на варшавской площади... и подобные страшные сказки рассказывались бесконечно – от имени к имени, от эпохи к эпохе, но неизменно и фатально они возвращались всегда к дедушке Леванту Максудовичу, или как звали его в Крыму – Леванту Мурзе, к министрам внутренних дел империи Сипягину и Плеве, к Балмашёву, Гершуни, Азефу, к каторге и ссылке (и к «Каторге и ссылке»), к парижской эмиграции... да к чему только они не возвращались! и всегда, всегда в этих сказках присутствовала старинная шкатулка, в которой хранились с прошлого века бесценные сокровища, непостижимо связанные с именем немецкого поэта, последнего поэта романтической эпохи, а через него – страшно думать! – с именем *основоположника*, одного из авторов «Манифеста Коммунистической партии» – страшного бородатого старца с пронзительными глазами, похожего на злобного карлика... и потом по кругу – от основоположника – через Бакунина, Герцена, Плеханова – снова к мифическому дедушке, которого судьбу в нежном возрасте ты вовсе не можешь осознать, – ум твой для этого ещё не развит, а жизненного опыта у тебя и просто нет, однако теперь, в зрелости является вдруг у тебя (а может, не только у тебя) возможность интерпретировать прошлое не так, как учили в средней школе, институте и на партсобраниях, – интерпретировать и вообще по-иному оценивать историю, а ты, ясно осознав это и мучительно вглядываясь в более чем столетнюю даль, пытаешься продрасться сквозь окаменевшие наслоения неправды, копаешь, разглядываешь находки, чистишь и моешь их, высушиваешь, всматриваешься через волшебное стекло, освещаешь отовсюду и наконец видишь: со стороны Большой Морской по слегка влажной площади Синего моста солнечным весенним днём, заштрихованным город короткими тенями, выходит молодцеватый офицер в ладно сидящем адъютантском мундире с погонами поручика и уверенно направляется к Мариинскому дворцу, где расположены Государственный совет и Кабинет министров Империи... день так хорош и весеннее солнце уже привлекает пробуждающихся от спячки петербуржцев, бодрее и увереннее глядящих

на тяжёлую невскую воду, подсыхающие улицы и ещё голые, но вот-вот готовые очнуться ветки деревьев; лихачи, снявшие свои сермяжные зипуны, носятся по улицам с особенным весенним шиком, возможным лишь в самом начале балтийского апреля, который именно и диктует им это раннее раскрепощение, а поручик идёт уже вдоль дворцового фасада, с достоинством отдаёт честь встречным офицерам и, подходя к главному подъезду, замедляет на мгновение шаг: тут стоит гигантского роста могучий иноверец, дворник, похожий на самого настоящего абрека, – лицо у него волевое, дерзкое, губы растянуты в ухмылку, хищный нос клюёт пространство, а глаза так и горят огнём ненависти и жажды убийства, – фальшивый поручик вглядывается в его лицо и остаётся доволен, понимая, как кипит кровь напарника, и чувствует закипание своей... сердце его бьётся, ладони потеют, и он вдруг спохватывается, внезапно осознав, что это возбуждение, катастрофически похожее на возбуждение перед соитием, следует скрывать, – он берёт себя в руки, гасит взор, чуть замедляет шаг и уже спокойно ухватывает массивную дверную ручку... в это мгновение пространство вокруг него сгущается, время как будто замедляет ход, и все движения героя тоже замедляются как в хорошей пантомиме... он входит внутрь и видит перед собой просторный вестибюль; скоро начнётся заседание министров, и герой, остановившись, цепко наблюдает: важные господа церемонно приветствуют друг друга, коротко обмениваются незначущими репликами... он, несколько нервничая, и в некоторой даже панике раздумывает, куда ему следует направиться... глаза его лихорадочно блестят, да так, что опытный сыщик, присмотревшись, непременно учуял бы здесь злодейский умысел, но вестибюль Мариинского дворца в сей час, слава богу, свободен от вьедливых ищеек, и фальшивого поручика спасает от разоблачения полное отсутствие внимания к его персоне... он против обыкновения бледен, ибо в иное время свежие щёки его заливают молодой румянец, ибо отчего ж не быть румянцу у цветущего двадцатилетнего юнца... сердце его колотится, и он ловит себя на мысли, что ему всё-таки хочется уйти, но в этот миг... парадная дверь открывается и в сопровождении свиты в вестибюль входит Дмитрий Сергеевич Сипягин... поручик, повернувшись, делает несколько шагов в направлении министра, отдаёт ему честь и охрипшим голосом бодро произносит: ваше высокопревосходительство... тут происходит некая заминка, и министр вместе со свитой останавливаются в замешательстве, поскольку происходящее определённо не согласуется с дежурным протоколом, – офицер же, пытаясь быстрее заполнить возникшую паузу и сильно торопясь, продолжает: ваше высокопревосходительство, вам пакет от Великого Князя Сергея Александровича... из Москвы!.. – от кого? – переспрашивает Сипягин, изображая на лице крайнее удивление... – от Великого Князя, – протягивая депешу, повторяет поручик, – Сергея Александровича... – министр снимает с правой руки перчатку, принимает пакет и тупо смотрит на его сургучную печать, желая, очевидно, задать дополнительный вопрос, но тут... всё вокруг них снова замедляется, и офицер, словно во сне, с трудом преодолевая сопротивление вязкого и липкого воздуха, выхватывает из кармана шинели новенький бельгийский браунинг и, отступив на шаг, со словами «так поступают с врагами народа!» стреляет в сановника!.. свет меркнет, занавес опускается; впрочем, это лишь первый акт страшного спектакля, который бабушка *изображает* лицом и рассказывает таким голосом и с такими интонациями, будто пытается напугать внука с внучкой новой сказкой про пожирателя детей или, может быть, про истребителя невинных жён, – надо сказать, в целом ей это неплохо удаётся, причём, настолько, что и спустя годы воспоминания о преступлении в Государственном совете пугают Артёма не меньше, чем виденные им лично недавние одесские ужасы; ему кажется, что в вестибюле дворца он стоял около убийцы, с левой стороны, сразу за колонной и вполне мог отвести его руку, твёрдо сжимающую совсем нестрашный на вид бельгийский браунинг... но, подросши, кончив школу и историко-архивный институт, одолев сотни умных книг и хорошенько порывшись в бумагах различных канцелярий, он всё пытался возражать непреклонной своей бабушке, пеняя ей на отсутствие в её глупых сказках

задокументированных фактов, разоблачая вопиющий антиисторизм её вредных баек и указывая на сознательное искажение давно проверенной, отредактированной и внесённой в анналы информации; слава богу, бабушка далека была от академической среды и не общалась с авторами школьных пособий и учебников, – в противном случае и жизнь её повернулась бы как-нибудь иначе; возражений она, впрочем, не ждала и продолжала упорствовать в своём агрессивном мифотворчестве: как только Гершуни поставил вопрос о ликвидации Сипягина, так сразу же и подвернулся ему – Гершуни, разумеется, – слегка ненормальный студент Балмашёв, молодой дурачок, даже и не достигший к тому времени совершеннолетия, человек крайне амбициозный, экзальтированный, однако, честный, прямодушный и простой, который воспитывался в семье политического ссыльного, бывшего народника Валерьяна Александровича Балмашёва, проживавшего в Саратове и занимавшего в тамошней городской библиотеке скромную должность библиотекаря, почитавшего долгом своим быть воспитателем и нравственным ориентиром подрастающей провинциальной молодёжи, что не мешало ему, впрочем, пить горькую так, как не пил в Саратове, а может, и вообще нигде под небом многострадальной Российской империи самый распоследний сапожник; этот ответственный отец воспитал своего Степана в духе любви к страдающему мужику и завещал, надо думать, сыну свой народнический опыт, который был вполне исчерпан уже в период так называемого *хождения в народ*, когда бродячих дворянчиков этот самый мужик в большинстве случаев без дальней мысли просто матом покрывал, не умея выразиться деликатнее, дабы передать несложную и ясную в своей прозаической прозрачности мысль: не лезьте, ваше благородие, со своим уставом в чужие монастырские владения, а идите-ка вы лучше *в...* или даже *на...* сын же Стёпа сызмальства был очень восприимчив и, судя по всему, вполне мог в будущем продолжить дело батюшки, – да и продолжил, как нам теперь известно, правда, настолько радикально, насколько родители его и думать не могли, в особенности матушка, искренне считавшая Степана абсолютным ангелочком и с неодолимой силой убеждения рассказывавшая позже адвокату Люстигу (защищавшему в уголовном процессе юного губителя безвинных душ), как мутило Стёпу от одного только вида крови и он не то что курицу зарезать на дворе не мог, а и смотреть, как сиё делают другие, был не в состоянии... в сторону, впрочем, убийцу, ведь необходимо же сказать, за что Боевая организация эсеров в лице сатанинского Гершуни постановила стереть с лица земли Дмитрия Сипягина: он, извольте ли видеть, среди иных царских сатрапов был самым кровожадным и более иных просился – по меткому выражению обвинительного заключения эсеров – под искупительную пулю; так, исполняя его приказы и устные установления, полиция избивала на демонстрациях студентов, рабочих, ремесленников, не щадя, пожалуй, даже женщин, арестовывала, судила, ссылала... а кто ответит за кровь батумцев и обуховцев, голодные рты которых заткнули стгоряча свинцом? и чьими руками это сделали? своего же брата солдатика руками, бывшего мужика, такого же забитого, бесправного и полуголодного... для чего в России гражданина науськивают на гражданина и нарочно ищут противоречий между братьями? ежели у тебя нынче осьмушка хлеба, а у меня – четверть, так надобно тебя направить противу меня, а ежели у меня алтын или того паче – полушка, а у тебя – целковый звонкий, знать, тогда уже мне по твою голову искать причину! или – лучше того: крикнуть народ супротив инородца да выпустить на волю его перины заодно с его мозгами!.. вот Сипягин, словно верный пёс, во всю жизнь свою стоял крепко за хозяина, коему ещё и присягал, и как же ему не стоять? знамо дело, свято соблюдал все уже установленные установления да изобретал новые охранительные меры, поделом же ему, собаке, даром, что честный человек, да и нужды нет, что честный, мало ли, кажись, в отечестве честных-то людей... не берём в расчёт и недавнюю его женитьбу – супруга его вообще к делу не идёт... хотя гуманность, думается, проявлять нам всё же надо: вот ежели, к примеру, на месте теракта случится некстати посторонний человек, ну, там женщина или, хуже того, – ребёнок без призору, – так в сём случае покушение следует немедля

отложить, но не окончательно, а лишь отодвинув исполнение справедливого возмездия на иное, более подобающее время, исключаящие возможности убийства безотносительных и ни в чём не повинных вообще людей. . . юный Балмашёв был дерзок и идеологически прямолинеен, курицу он, конечно, порешить не мог, а вот освободить страждущее человечество посредством убийства царского сатрапа очень даже мог, потому что маячила ему впереди какая-то обманная мечта: будто бы единственное мгновенное деяние, хоть бы и насильственное, сей же час приведёт мир к страстно желаемой гармонии, и всё само собой как-то установится, но! – этот человек ведь мог и струсить – хотя бы в силу сентиментальности характера, он был твёрд, но и мягок, решителен, но и в некотором роде мнителен, отважен, но и местами всё же слишком осторожен, это был, в общем, ненадёжный, несколько истеричный человек, но Гершуни настоял, несмотря на большое количество желающих, чтобы именно ему, Балмашёву, доверили исполнение этого важного теракта, а для того, чтобы дело было верным, дал в напарники гордого татарского князя Леванта Максудовича, который к тому времени уже прозывался Леоном Максимовичем, – дал для того, чтобы прикрыть тылы и в случае какого-нибудь непредвиденного сбоя довести дело до логического завершения. . . потому и стоял этот железный человек в назначенный день возле главного подъезда Мариинского дворца, щеголяя облачением строгого дворника, повелителя окрестностей, в фигуре коего, если приглядеться, было что-то оперное, а то, пожалуй, опереточное, но уж во всяком случае вполне достоверное и соответствующее местным реалиям, – маскарад оказался очень точным и практически не обращающим внимания на себя, за что благодарить, конечно, нужно было в первую очередь Гершуни, ибо первоначальный замысел его, опасный и неверный, состоял в идее одеть Леона Максимовича также офицером, а офицерская форма всё-таки не очень шла к гренадёрскому росту Леона Максимовича да к его инородной наружности, пусть и схожей – хотя бы и отчасти – с наружностью кавказских офицеров: те отличались выправкою, гордой статью и особою молодцеватостию, Леон же Максимович имел только нечто зверское в лице и особенно в глазах, – это выражение какой-то кровожадности вкупе с большим горбатым носом, мохнатыми бровями и дочиста бритой головой зачастую останавливало внимание людей, и потому, отправляя приметного князя к Госсвету, Гершуни строго-настрога приказал ему держать очи долу, что и исполнялось до известного момента, до той как раз поры, пока ряженный дворник, услышав голос браунинга, явственно донёсшийся из недр дворца, а следом – крики изумления, и, прислушавшись к внезапно наступившей тишине, означавшей, очевидно, заминку или неудачу, не вломился всей тушей своею в вестибюль, где уже скручен был всклокоченный Степан и медленно оседал на руки подоспевших мундиров раненый Сипягин, – князь вломился и, выхватив из-под дворницкого фартука такой же точно, как у Балмашёва, бельгийский браунинг, взялся стрелять, и мундиры шарахнулись в панике по сторонам. . . а потом, несколько времени спустя, уже сидя в крепости, оба они – и Леон Максимович, и Балмашёв – не только ничуть не раскаивались в сделанном, а наоборот, – радостно приветствовали свой успех, мысленно поздравляя и себя, и Гершуни, и Боевую организацию в целом, хоть и знали точно, что им непременно вынесут смертный приговор; родители Степана, правда, надеялись на милость, – ведь сын не перешагнул рубежа совершеннолетия, а подростков закон иной раз всё-таки щадит; впрочем, Балмашёв, как истинный фанатик, жаждал казни и смертью своею хотел сказать миру последнее проклятие, ибо мнение его было таково: мир этот, во всяком случае российский, только и заслуживает проклятия, пусть сгорит да и провалится к чёрту в преисподнюю, ибо только на его обломках потомки смогут построить справедливый, ласковый к народу мир, – посему не сделал Степан в суде ни единого движения, дабы спасти по возможности едва начавшуюся жизнь свою, хотя Люстиг и искал ему спасения, более того, юнец всячески усугублял вину дерзкими и отнюдь не покаянными речами, высказываясь в весьма парадоксальном смысле: пособник его – вовсе не сидящий поблизости на лавке подсудимых дерзкий князь, а всё русское правительство, и я не стану, мол, да и не могу

отрицать участия своего в противуправительственной пропаганде, которую я вёл в бытность мою в Университете, но никогда, никогда не замышлял я убиения себе подобных и не призывал к террору, – совершенно же напротив, ратовал за конституцию, паче того – за неукоснительное соблюдение порядка, однако же, правительство сумело убедить меня, против ожидания, в обратном, в том именно, что юстиция в стране почил безвозвратно и права нет, а вместо них царят в империи насилие и произвол, супротив которых действовать возможно только силой, и спросите же меня – из каких соображений я покушался на Сипягина? – а я в ответ скажу: обратитесь к прочим русским – почему не убили до сих пор?.. сей дерзости, непонятной никому, вполне было достаточно присяжным, чтобы единогласно вынести вердикт «виновен», – таким образом, утаскивал он следом и подельника, и обе головы в сём случае предназначались плахе, то есть в смысле фигуральном, а, придерживаясь фактов, – их ждала петля, однако ж Вильгельм Осипович Люстиг, как и было сказано, всё же пытался их спасти и по вынесении присяжными вердикта убедил матушку Степана подписать прошение на высочайшее имя с просьбой о помилованье сына, но Государь, ознакомившись с прошением, пожелал моления о милости от самого убийцы, на что тот ответил торжественным отказом, и даже председатель Комитета министров Дурново не смог склонить его к изменению решения; Дурново и в самом деле хотел спасти юридивого Стёпу от неминуемой верёвки, а Стёпа ещё со свойственным ему гротескным юмором и иронизировал: вам, дескать, труднее повесить меня, нежели мне – покинуть этот мир и не будете ли вы, мол, так любезны впредь оградить меня от высочайших милостей, впрочем, хочу вас попросить: пусть мне дадут крепкую верёвку, ибо, я знаю, вы, дескать, вешать не умеете... так Дурново был в чрезвычайной степени убит этим разговором и, придя к матушке Степана, заявил: сын ваш – не человек, а камень; тогда же прошение о помиловании Леона Максимовича было против ожидания отклонено, хоть он и не жаждал своей казни в той степени, в какой мечтал о ней подельник; тогда Гершуни решил устроить смертникам побег, хоть бы и из Шлиссельбурга, но Балмашёв и тут отказался наотрез, посему побег устроили лишь князю, а несгибаемый сын народовольца, не бросив безумной мысли смертью своею смерть попрасть, третьего мая на рассвете отправился на эшафот, являющийся в сем апокрифе скорее романтической фигурой речи, нежели в самом деле эшафотом, – тут ни убавить, ни прибавить, потому что бабушка, по воспоминаниям Артёма, и всегда была чрезвычайно склонна к излишней романтизации событий, но так или иначе 3-го мая 1902 года, рассветным утром, а лучше сказать, в четыре часа ночи государственный преступник Балмашёв Степан, дворянский сын, согласно статье 963 Устава уголовного судопроизводства был взведён жандармским полковником Яковлевым к виселице на малом дворе Старой тюрьмы и повешен без покаянья и последнего причастия, хотя и было предложено ему за полчаса до казни получить напутствие православного священника, специально прибывшего в крепость, но преступник заупрямился и на пороге смерти крикнул: не желаю! – отказавшись приложиться ко кресту и оскорбив при сём доброго пастыря словами *с лицемерами дела иметь не буду никогда!*, а после акта казни Балмашёв двадцать шесть минут был ещё в петле до той поры, пока военврач Руднев не констатировал смерть приговорённого, труп коего после подписания медакта был уложен в гроб и направлен к месту последнего успокоения... а Гершуни мог разве устроить им побег? один только некий Ромашов лет пятьдесят тому назад, то есть от того события, о коем речь и, значит, – в середине XIX-го века бежал из той крепости, сговорившись с солдатами охраны, и сколько раз выговаривал бабушке Артём за подобные фантастические байки, но это её только распяляло: что ты вообще знаешь, *mon cher ami*, о Боевой организации эсеров, этих демонов революции, и как можешь ты судить об их возможностях? а я, между прочим, видела кое-что своими глазами и ты бы, дескать, помолчал, когда бабушка делится с тобой неизвестными истории подробностями своей личной жизни и судьбы: да, конечно, руководители Боевой организации были циничными подонками, и это относится не только к известному предателю Азефу, но и к Гершуни, и даже к

Савинкову, но за своих боевиков они горой стояли, потому что те были им нужны, – и вот за Леона Максимовича заплачены были немислимые деньги, подкуплены люди и нанят *утлый чёлн*; план был беспрецедентный, дерзкий и, в некотором роде, просто хамский, – князь бежал из-под носа охранителей, был вывезен за город, переодет и снабжён подлинными документами на имя некоего петербургского мещанина Авеля Акимова; архивные бумаги, правда, трактовали означенную фантастику намного прозаичнее и уж, во всяком случае, точнее: князь, решив оттянуть время своей казни, заблаговременно вошёл в сношение с Особым отделом Департамента полиции и посулил заинтересованным чинам сообщить кой-какую информацию, ему с готовностью поверили, переведя его в столицу, он же стал тянуть, вилять и всячески уклоняться под разными предложениями... прошло время, немалое, надо сказать, и в Особом отделе наконец додумались: Леон Максимович дерзко и почти в открытую водит за нос высокие чины, – тогда уж с казнью решили не тянуть, а Гершуни за то время успел хорошенько подготовиться, и в тот час, когда князя в сопровождении четырёх конных полицейских повели к петле, боевой эсеровский отряд уже ожидал их на подступах к маршруту, и тут театр во всей своей красе вернулся, став в рифму к ряженому дворнику, чей опереточный наряд так гармонировал с фасадом Мариинского дворца: это смотрелось как в подлинном театре, хотя, глядя из 2015-го года на события более чем столетней давности, лучше, конечно, думать о кино, ибо акт побега из-под виселицы был поставлен в лучших традициях социалистического реализма: князь шёл внутри жандармского прямоугольника, кони цокали подковами, жандармы в некоторой предутренней сонливости глядели вдаль и по сторонам, не замечая ничего крамольного, лениво потряхивали поводьями... вдруг – выстрелы, и кони, взвившись на дыбы, едва не сбрасывают наземь седоков... тут суматоха, крики, гортанные ругательства и стоны раненых, взбесившиеся боевики,двигающиеся как марионетки и без надобности размахивающие штатными бельгийскими браунингами, – впрочем, были ещё один наган и ещё один веблей, – жандармская фуражка, покотившаяся в сторону, оскаленные морды коней ... безвольно откинута рука на грязной мостовой, мечущийся под пулями князь, разбросанные тела убитых и раненых жандармов, пороховой дым и – крупно – угол рта, полуоткрытые губы и жандармские усы, заливаемые кровью... верёвка сохранила девственность, приговор не удалось исполнить, чьи-то головы потом слетели, не говоря уж о погибших, и станет ли кто-то после этого с учёным видом – так, как умели это делать советские профессора-обществоведы, – рассуждать о роке, упирая на то, что фатум есть буржуазная выдумка, и, не понимая вовсе случайности судьбы, ибо не герои-стахановцы приводят новую историческую общность людей различных национальностей к светлому коммунистическому будущему, а богини-пряхи, с одинаковым успехом способные создать как пеньковую верёвку, так и полувоенный френч из защитного сукна, – более того: когда Клото прядёт, Лахесис отмеряет, а Атропос перерезает жизненную нить, значение воли человека вовсе исчезает, хотя... иной раз равнодушный жребий и спасает тебя, как это было в случае, например, с обер-прокурором Святейшего Синода (тем самым, который, между прочим, *простёр свиные крыла*) Победоносцевым, предназначенным к закланию одновременно с благодушным министром МВД Сипягиным, и уже почти положенным на жертвенный гранит, но ускользнувшим от судьбы, а может, и наоборот – спасшимся *благодаря* судьбе, которая под хмурым петербургским небом выстроилась так: 2-го апреля в час пополудни, когда Сипягин как раз прибыл к Мариинскому дворцу, из Синода вышел Победоносцев, к которому должен был приблизиться некий боевик, вызванный телеграммой из провинции, однако молодой телеграфист, всего только три дня как выпущенный из учеников, в силу волнения или невнимания перепутал при подаче телеграммы две буквы в именовании адресата, вследствие чего этот самый адресат условного послания не получил и в Петербург, понятно, не приехал, отчего первоначальная картина удачно задуманного убийства сразу изменилась: Победоносцев встал с приготовленного ему жертвенного камня, небрежно отряхнулся и последовал... куда

он там последовал, – только черти знают, но очевиднее всего – в Сенат... – и, значит, наш обер-прокурор стоит, получается, в раздумьи на Галерной невдалеке от триумфальной арки и не знает, какую беду отвёл от него телеграфист, а на полотне экрана выглядит всё это так: мрачный убийца с протянутой рукой, в которой зажат револьвер на сей раз неизвестной породы, опускает вдруг оружие и начинает двигаться чрезвычайно странным образом, а именно – назад спиной, проходит некоторый путь, и тут в кадр въезжает тоже почему-то задом ободранная пролётка с *ванькой* впереди, убийца садится, и пролётка, продолжая ехать прежде лошади, резво двигается по направлению к вокзалу, Николаевскому, надо полагать... и так далее, – вплоть до посадки террориста в поезд, – разумеется, задом наперёд, – и появления его в месте назначения, то есть правильнее сказать всё-таки – в месте отбытия... посему напрасно ты, голубчик, – адресовалась бабушка к Артёму, – так жарко возражаешь противу доказанных самою жизнью упрямых аргументов... не нравится тебе? на твой взгляд бездоказательно? предлагаешь привести новые примеры? изволь, топ cher ami, вот тебе пример: 15 июля 1904 года в девять часов утра капитан лейб-гвардии Семёновского полка Максимилиан Цвезинский выехал на Измайловский проспект, торопясь к поезду, отходящему с Варшавского вокзала в девять тридцать, и вовсе не зная ничего о том, что нить его жизни без согласования с ним уже безжалостно вплетена в историческое полотно, – министр внутренних дел Плеве, сменивший на этом посту недавно убитого Сипягина, в те же девять часов также выехал на тот же Измайловский проспект, едучи с докладом ко двору, и кучеру министра не нужно было указывать на то, что двигаться следует по центру проспекта, как можно дальше от потенциально опасных тротуаров, хотя бы и заполненных по обыкновению филёрами, сыщиками, полицейскими и охранниками 3-го делопроизводства, которые при всей своей наблюдательности и высочайшей выучке не видели слившуюся с обывателями группу террористов, следовавших по Обводному каналу и свернувших затем в первую роту Измайловского полка, где некий Боришанский двинулся вперёд, а Созонов с десятифунтовой бомбой в руках, напротив, несколько отстал, – страховал его Каляев, поэтический бес и будущий убийца Великого князя, – замыкали группу, прикрывая тылы и возможные пути отхода, Сикорский и дедушка Леон, князь Левант Мурза, переименованный уже согласно новому, купленному за большие деньги паспорту, в петербургского мещанина Авеля Акимова; акция была продумана: Боришанский пропускает Плеве и запирает Измайловский проспект, Созонов – главный козырь, но ежели он промахнётся или будет схвачен до свершения акта революционного возмездия, то в дело вступят Каляев, Сикорский и новоиспечённый мещанин Акимов, – кровавый сатрап Плеве не уйдёт от бомбы, но неизвестно, как всё сложилось бы, не будь в тот час на проспекте капитана лейб-гвардии известного полка, ехавшего впереди министра; за семь минут до девяти Созонов в железнодорожной форме спустился с моста Обводного канала и быстро двинулся к Варшавской гостинице, а Боришанский в это время уже находился возле угла первой роты; Каляев, Сикорский и Акимов контролировали ситуацию по ту сторону канала, – таким образом, министр был надёжно заперт, но! неизвестно всё-таки, удалось бы Созонову удачно бросить бомбу, – может быть, он её и не докинул, а Боришанский, для примера, растерявшись, пропустил бы вдруг карету, и Плеве удалось бы выскочить с проспекта, но Клото уж спряла, Лахесис отмерила, а Атропос занесла свой нож, ножницы или что там у неё, чтобы отрезать эту нить... только ещё не факт – смогла бы или нет, – мало ли какой случай помешал бы ей... нет, не так – это как раз она и распорядилась: бравый капитан Цвезинский закрывал дорогу Плеве, – министерский кучер, пытаясь обогнать его, взял влево, опасно съехав к тротуару, где как раз стоял в гипнотическом оцепенении Созонов... натянув вожжи, он, то есть, конечно, кучер слегка попрердержал коня, и карета, словно войдя в некое тягучее пространство, с усилием стала преодолевать зыбкую субстанцию проспекта и... обходить... обходить пролётку капитана... Созонов очнулся и шагнул... карета министра была очень близко, Плеве успел ещё мельком взглянуть в безумные глаза убийцы и понял... Атропос

– неотвратимая, неминуемая, непреклонная уже подняла руку, чтобы сделать последнее движение... в этот миг в карету министра полетела бомба!.. в тишине бомба взорвалась, и со стен домов медленно посыпались бликующими веерами стёкла, по проспекту расползся чёрный дым, и словно в вате, с усилием подымая ноги и руки, забегали по развороченной мостовой мелкие людишки... раненый и контуженный Созонов, лёжа на асфальте, едва открыл глаза и сквозь красную пелену заливающей лицо крови увидел перспективу проспекта... кто-то изо всех сил пнул Созонова грязною кирзой, и тут у него открылся слух: крики, стоны и истерические визги хлынули ему в лицо... звон стекла, топот беспорядочно снующих ног и эхо взрыва, многократно отразившееся от домов... убитых и раненых оказалось очень много – Плеве был разорван в клочья, кучер министра и случайные прохожие лежали без жизни на вздыбленном проспекте; к слову сказать, Цвейцинский тоже не ушёл от злой судьбы, хоть и не был виноват ни в чём, – если уж подходить к делу без пристрастия; он был ранен очень тяжело, что не помешало ему вскорости поправиться, служить, командовать ротой и даже принять в известное время участие в Великой войне, получив на той войне за свои мужество и храбрость немало орденов вкупе с Георгиевской шашкой, а летом 17-го года – генерал-майора, что, думается, всё-таки не способствовало его выживанию в дальнейшем... вот тебе, голубчик, роль исторической случайности и закономерности, – будешь ты спорить или нет, опираясь на лекции красных обществоведов в твоём архивном институте, но я тебе скажу: возьми, к примеру, десятифунтовую бомбу не Созонов, а, может быть, известный тебе петербургский мещанин Акимов, коим стал, ежели помнишь, Леон Максимович, сиречь Левант Мурза, – то и тебя, пожалуй, на этом свете не было б... и уж добавлю, чтобы поставить в нашем споре окончательную точку: зря, что ли, говорят, *Бог шельму метит?* так и пометил он Гершуни, только, лучше сказать, пометил чёрт, – посему в 1907 году у Григория обнаружили саркому, а три непреклонные бабы с нитками в руках ещё дали пережить ему и Шлиссельбург, и каторгу на Акатуе да побег с каторги в Японию, и только потом равнодушно исполнили своё предназначение... что скажет на это марксистско-ленинская философия? как станут трактовать такую судьбу обществоведы-краснобаи? – учись, дескать, Гриша, у Петра Лавровича Лаврова и как раз похоронят тебя, красивого и молодого, рядом с ним на Монпарнасском кладбище в замечательном городе Париже... и это всё равно ещё не точка, потому что точек в нашей жизни нет, даже если ты почил, смерть твоя – только запятая; так вот я и говорю: после покушения на Плеве дедушку арестовали в Харькове, но – ты будешь весело смеяться – не за покушение, отнюдь, а как бы ты думал, за какие геройства во славу нашего отечества? – за совращение, растление и убийства малолетних! да, паспорт Авеля Акимова сыграл в его судьбе трагическую роль, ибо кто же знал при покупке сего злополучного мандата, что петербургский мещанин Акимов есть уголовный каторжанин, детоубийца и маньяк, загубивший на своём веку множество невинных душ; и вот Леона Максимыча взяли как убийцу детей, не подозревая даже о принадлежности его к Боевой организации, и судили тоже как беглого преступника, и пока судили, рядили, разбирались, да так, ничтоже сумняшеся, и не разобрались, а взяли и приговорили его снова к повешенью, – зачем, дескать, портил малолетних да ещё и закапывал живьём? делопроизводство в Империи запутанное, расстояния большие, острогов – очень много и иди доказывай, что ты в жизни не трогал ни отроков, ни отроковиц, разве что для родственного целования, хотя если взглянуть не с уголовной стороны, а с политической, так и получится – тех же шей, только пожиже влей, там виселица и здесь виселица, выигрыша никакого, только что политическую петлю усерднее намьлят, знамо дело, политик у нас завсегда для матери-истории ценен, – и тут все поняли, что мещанину Акимову конец, не выкрутится и помилованья не получит, сколь не апеллируй, тогда Азеф – а к тому времени давно уже он перенял бразды правления, так как Гершуни ещё в 1903-ем заарестовали, – Азеф организовал ему побег, имея на дедушку далёкие виды, и вот второй раз из-под петли и снова ценой жизни

двух жандармов Леон Максимович бежал, – происходило это всё близ Харькова, и беглеца, посадив в закрытую карету, повезли в город на конспиративную квартиру, где жили три сестры, только не такие смиренные, как в пьесе, а довольно боевые и даже игравшие заметные роли в эсеровском движении, во всяком случае – две старшие, а младшая за малолетством покамест не посвящённая в дела, – так вот, жили, говорю я, три сестры – Анна Осиповна, Евлампия Осиповна и Евгения Осиповна, которая тебе, голубчик, знакома как родная бабушка, и с которой любишь ты поспорить, не понимая, очевидно, главного: время делает нас, – никто не против, но прежде времени делает нас кровь... и так, стоя перед книжной полкой и в раздумьи поглаживая пальцами урну с бабушкиным прахом, Артём всё вглядывался в полутемноту родной квартиры, давно уже потерявшей связь с хозяевами и укрытой полуторогодичной пылью, словно пеплом, – квартиры стёршейся, поблекшей и прогоркшей, – вглядывался, напрягая измученные монитором компьютера глаза, и ... видел: к подъезду харьковского дома, купленного Осипом Розенбаумом на свои банкирские сверхприбыли, подъезжает в вечерних сумерках закрытая карета, и из неё выводят высокого, худого, слегка сутулого человека в кандалах, каторжной робе и измятой шапке, такого как бы сверх даже человека, имеющего нечто зверское в лице и особенно в глазах, – Евгения Осиповна, Женечка, вопреки запретам старших глядит исподтишка в окно, прячась за жёсткой крахмальной занавеской, видит странную фигуру гостя, пытается заглянуть ему в лицо, и вдруг он сам приподымает голову: в глазах его примечает она выражение какой-то кровожадности, и оно, это выражение, вкупе с большим горбатым носом, мохнатыми бровями и дочиста бритой головой так пугает её, что она отскакивает от окна и в ужасе закрывает ладонями глаза... встречают его мужья сестёр – Анны Осиповны и Евлампии Осиповны, соответственно – Иван Иваныч и Иван Степаныч, настоящие адепты белоснежных подкладок, только не по убеждениям, а из соображений конспирации; дочери Осипа Розенбаума не могли быть замужем за босяками, потому и носили Иван Иваныч и Иван Степаныч, – проживая, к слову, в богатом доме, хозяин которого симпатизировал *революционэрам*, — дорогие форменные сюртуки на белоснежных подкладках, а зимой – строгие шинели на таких же подкладках, сверкающих девственной чистотой... эти фаты, в некотором смысле даже щёголи, а то, пожалуй, и хлыщи, эти праздные повесы, по убеждению пришедшие в Боевую организацию, давно уже получили указания от дальновидного Азефа, всё продумали, приготовили, купили железнодорожный билет до Берлина, вот только размер костюмчика не угадали, – размер костюмчика для беглого якобы маньяка; так вот – заводят они этого каторжника в дом, где по случаю организована как бы вечеринка, и провожают в дальние покои, – снимают с него кандалы и, поскольку процесс освобождения является всё же не тихим предприятием, то приходится, включив патефон, хором подпевать Варе Паниной, чтобы заглушить бряцание металла; потом его переодевают, и тут во всей своей красе является ошибка костюмеров, – лодыжки и щиколотки его выходят несколько из берегов, – но исправить эту беду одним махом затруднительно, потому всё и остаётся, как есть, и умытого гостя вводят в комнату, сажают в тёмный угол, куда не достигает свет низко висящего зелёного абажура и посылают Женечку, младшенькую, подать странной фигуре чашку чаю и блюдечко с баранками, пересыпанными кусками рафинада; Женечка в некотором опасении приносит чай и с любопытством разглядывает гостя, – красное, влажное и как будто измученное лицо его, – он приподымает голову, когда она подходит, и её поражают его страшные глаза, – карие, большие, похожие на глаза умного коня, с красными прожилками в углах белков, затравленные глаза смертельно замученного человека... он протягивает руку, и его сиротливое запястье выглядывает из недостаточного рукава... благодарю, говорит он, принимая чашку, и начинает, обжигаясь, жадно пить, Женя глядит с жалостью, а он быстро – одну за другой – заглатывает все баранки и энергично хрустит мраморным сколком рафинада; студенты за столом, или кто они там есть на самом деле, продолжают шумно веселиться, подпевать Паниной и громко хохотать, а Леон Максимович, в одночасье утративший опасный статус

детоубийцы и растлителя, съевши всё и проглотив чайный кипяток, смотрит вопросительно на Женечку, предполагая продолжение банкета, она же в свою очередь, быстро понимает: человек так голоден, что утолить голод баранками ему непросто, и тогда она идёт на кухню, делает для него целую горку бутербродов, а он эти бутерброды, не моргнув глазом, в течение минуты сметает так непринуждённо, как ураган в поле сметает ветхую избушку, и снова смотрит на Женечку голодными глазами, – тогда она, махнув рукой, сопровождаемая какою-то болезненною жалостью, зовёт его вглубь дома, и они идут по коридору, соединяющему гостиную и кухню, – вдруг, не пройдя и половины, он резко останавливается и, оперев свои здоровенные ручки в стену над Женечиной головой, почти прижимает её к благородному дубу коридорной стены и говорит проникновенным басом: ты моя! вижу в твоих глазах особенную кровь и особенный характер, только ты можешь стать матерью моих детей... мне другие не нужны! хочешь, встану на колени и буду умолять о снисхождении? ты – зеркало моё, ты – половина моего сознания, души и плоти... станешь ты моей женой? – и надо представить себе весь ужас шестнадцатилетнего ребёнка, услышавшего это пафосное и, надо признать, весьма странное предложение, *от которого невозможно отказаться*, надо представить себе, говорю я, весь ужас её, чтобы понять насколько страшным показался ей этот беглый каторжник, едва освобождённый от цепей, – огромный, двухметровый, обритый наголо, с обветренной рожей, с безумными, слегка косящими азиатскими глазами, в дичайшем – не по росту – костюме с неизвестного плеча... а Женечка была домашней девочкой, лишь недавно оставившей свои куклы, причём, родилась она малышкой, такой маленькой, что думали – никогда не подрастёт, однако ж выросла, но всё равно осталась воробьём – эльфийские ножки, ручки, тонкая шейка и голубая жилка, трепещущая на виске, – ангелок, дитя небес, цветок душистых прерий, а каторжник над ней – настоящий, не сказочный, не придуманный какой-то персонаж готической истории, и она даже знает, что он точно – уже состоявшийся убийца, хоть, слава богу, и не растлитель малолетних, вот это – настоящий ужас! и как стать женой абрека, которого представить можно только на коне с кривою саблей в руке и зверским выражением в глазах... ведь он, пожалуй, и тебя зарежет, вздумай ты ему перечить, а потом разрубит мёртвое тело на куски да и пришлёт частями батюшке – сперва ножки, потом ручки, и под конец – маленькую кукольную голову с закрытыми навсегда печальными глазами... она так испугалась, что стала в ужасе мотать из стороны в сторону нежным подбородком и машинально приговаривать – нет, нет... нет... я не согласна, не хочу, не могу... только не убивайте меня прямо сейчас... и они пошли на кухню, где она поставила перед ним тарелку с холодной телятиной, которая был им немедленно и без разговоров уничтожена, после чего он добавил: если ты не согласишься, сей же час отдамся я в полицейские объятия, и меня казнят, а семья твоя будет бессрочно, навсегда обречена – и родители, и сёстры, и их мужа-белоподкладочники, и все те студенты или кто там они есть, которые с энтузиазмом подпевают нынче Варе Паниной, а вскорости будут сидеть в тёмных казематах да проклинать свою горькую судьбинушку... словом, ты меня сейчас уважь, а я уж тебе потом как-нибудь точно пригожусь... и тогда она заплакала и говорит: ладно-ладно, я, дескать, согласная на всё, но не сию же минуту мне за тебя замуж выходить, да и не можно мне, ведь я девица, не достигшая покуда совершеннолетия, а он ей на это отвечает: ты пока живи, мол, в отчем доме, да помни уговор, – придёт время и я тебя покличу: наденешь гимназическое платье, уложишь в саквояж начёсанные панталоны да смену нижнего белья, – а драгоценности не вздумай брать!– есть у тебя, я чаю, драгоценности? – ну, приедешь, так я тебе на месте как раз всё сразу и куплю... мне говорили, ты спортсменка и любишь ездить на велосипеде, так не сомневайся – я тебе и велосипед приобрету... ну, так как? – обещаешься приехать? – обещаюсь! – гляди, девка, слово же дала... и через время приходят за ним Иваныч и Степаныч да уводят его сиятельство к пролётке, следующей на вокзал... как Женечка вздохнула! слава Тебе, Господи, избавилась... и однако ж это натуральный *Аленький цветочек*, ведь придётся

же рано или поздно обещание исполнить... но, не говоря ни слова никому, живёт она и дальше под этим дамокловым мечом, хоть и понимает, что предложение, *от которого нельзя было отказаться*, на самом деле выглядит таким брошенным как бы в пустоту, несерьёзным каким-то и ненастоящим, но, с иной стороны глядя, всё же это сказка, а в сказках ещё и не такое есть; вот спрашивал Господь белую гвардейщину: где Авель, брат твой? так и слышал в ответ: не знаю, разве я сторож брату моему? и как спрашивал Он другим разом теперь уже красную гвардейщину: где Авель, брат твой? так и снова слышал: не знаю, разве я сторож брату моему? впрочем, христианская идея вбита в нас на берегах Днепра, помнится, огнём и мечом, и неча теперь, как говорится, на зеркало пенять, – вот наш Леон Максимович, уже побывавший в разных ипостасях, не мог также на своё зеркало пенять, ибо откуда берётся стремление к перелицовке мира и ниспровержению основ, тем паче – с помощью насилия?.. откуда берётся эта болезненная страсть к динамиту, бельгийским браунингам и прочим смертоносным изобретениям изошрённого человеческого интеллекта? а берётся-то она от предков, кои связаны были с тобой узлами крови да вложили в тебя своё, *особенное* понимание справедливости и чести, – и чтобы понять да почувствовать на вкус бурлящую, порожистую реку этой буйной крови, разлившейся словно в половодье по державе, надобно взглянуть в истоки сей реки, где тоненький ручей едва только начинает движение, споро и быстро расширяясь да постепенно вырастая: ежели вести отсчёт от Бахадыр-Гирея, под псевдонимом Ремзий писавшего чудесные стихи о райских садах и большегрудых пери, то и здесь не доищешься истоков, – ведь и он не святым духом народился, впрочем, чёрта ли нам в доисторической глубинке? можно ведь и не ходить в такую даль – хватит вспомнить, к примеру, как ещё с конца XV века крымские орды набегали в русские границы, и предки нашего героя в тех баснословных походах не имели обыкновения плестись в обозах: для чего воевали они Русь? – известное дело: для рабов, коих за десятилетия захвачено было миллиона три с лихвой и кои пропали все в конце концов в недрах невольничьих рынков Константинополя, а потом – самая первая русско-турецкая война, а ещё потом – вторая, на которых предки нашего бомбометателя воевали, разумеется, на русской стороне... только не так просто всё, как кажется порой, когда из противоречивой действительности настоящего заглядываешь ты в густую тьму веков... вот армия генерал-аншефа Долгорукова завоевала Крым, – за что, между прочим, командующий получил от Государыни шпагу, усыпанную бриллиантами, и почётный титул – Крымский, – а спустя полтора десятилетия собравшиеся в Бахчисарае татарские мурзы уже выразили свои верноподданнические чувства правителю края Василию Каховскому; происходило это в преддверии посещения Тавриды Самодержицей; в бахчисарайском том собрании кроме прочих участвовал Мегметша бей Кантакузин, тогда ещё майор, а впоследствии полковник, – прямой предок юного Леванта и отец поручика Мустафы Мурзы, побывавшего два десятилетия спустя на аудиенции у Государя; другой предок неустрашимого эсера – по двоюродной линии – Темир ага, что, между прочим, толмачи трактовали как *железный*, служил в Симферопольском коннотатарском полку, сформированном под наблюдением генерал-губернатора Новороссии Дюка де Ришелье, – имел статного вороного коня турецкой крови, пику, пистолет и татарский клевец *кулок-балта*... но и то было уже позже, а лучше заглянуть спервоначалу в апрельский 1783 года Манифест Императрицы, памятный Артёму ещё по занятиям в Исторической библиотеке, куда попасть в глухую пору *застоя* просто так было невозможно, почему и пришлось ему брать в своём Историко-архивном специальное письмо с нижайшей просьбой от деканата поспособствовать студенту-первокурснику... и как же он любил эти на целый день занятия в тишине большого зала, украшенного окнами, уставленного дубовыми столами с уютными лампами, и Артём всегда старался сесть в углу и позади всех, чтобы иметь возможность наблюдать за читателями и особенно – читательницами, чьи лилейные шейки, украшенные соблазнительными завитками, волновали его, конечно, много больше, чем самодержавные

вердикты, и он нет-нет отвлекался от украшенных старорежимными ятями да ижицами древних текстов, поглядывая по сторонам и отмечая исполненные кошачьей грации изгибы девьих спин, там – упавшую на висок прядку, а там – пушистые ресницы да подпёртый маленьким кулачком нежный подбородок... но история властно призывала, и он, с трудом отвлекаясь от прекрасных профилей, возвращался в давние эпохи, где чёрным по белому на старой ломкой бумаге было писано: *...поспешествующей милостью мы, Екатерина Вторая, Императрица и самодержица всероссийская... объявляем сим кому о том ведать надлежит, что нынешнего тысяча семьсот семьдесят четвертого года июля в десятый день между нашим императорским величеством и его салтановым величеством... Абдул Гамидом-ханом, сыном салтана Ахмед-хана... по данной с обеих сторон полной власти и мочи... чрез взаимно назначенных от них обоих полномочных комиссаров учинен и заключен трактат вечного мира, в двадцати восьми пунктах состоящий, который в пятый на десять день того же месяца формально и принят за благо, признан и утверждён от сих обоих полной властью и мочью снабденных верховных начальников и который от слова до слова гласит как следует: ПУНКТЫ ВЕЧНОГО ПРИМИРЕНИЯ И ПОКОЯ МЕЖДУ ИМПЕРИЯМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ И ПОРТОЙ ОТТОМАНСКОЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В ЛАГЕРЕ ПРИ ДЕРЕВНЕ КЮЧУК КАЙНАРЖЕ В ЧЕТЫРЕХ ЧАСАХ ОТ ГОРОДА СИЛИСТРИИ... во имя Господа Всемогущего... обеих воюющих сторон империи Всероссийской и Порты Оттоманской государи и самодержцы, имея взаимное желание и склонность к прекращению настоящей между обоюдными государствами их продолжающейся войны и к восстановлению мира, чрез уполномочиваемых с обеих сторон поверенных особ действительно определили и уполномочили к соглашению, постановлению, заключению и подписанию мирного трактата между обоюдными высокими империями... посему оба главнокомандующие армиями, генерал-фельдмаршал граф Петр Румянцов и верховный везир Муссун-Заде Мегмет-Пашиа, следуя предположениям их высоких дворов, употребили о том свои попечения, и от верховного везира со стороны Блистательной Порты присланные 5 июля 1774 г. в стан генерал-фельдмаршала уполномоченные Нишанджи-Ресьми-Ахмет эфендий и Ибрагим-Мюниб-реис-эфендий с избранным и уполномоченным от упомянутого генерал-фельдмаршала князем Николаем Репниным, генерал-поручиком... в присутствии его самого, генерал-фельдмаршала графа Румянцева, согласили, постановили, заключили, предписали и печатями утвердили для вечного мира между империей Всероссийской и Портой Оттоманской нижеследующие артикулы... – дальше шли артикулы, коих необходимость в данном тексте может быть оспорена заскучавшим вдруг читателем, а и сообщить-то ему следует лишь главное: по знаменитому Кючук-Кайнарджийскому договору Крымское ханство получало независимость с бонусом в виде дополнительной землечки, а Россия – Керчь, Еникалэ и ранее завоёванные черноморские форпосты; главным же достижением российской дипломатии было, очевидно, честно отвоёванное право прохода судов через Босфор и Дарданеллы и, конечно, возможность иметь свой флот на вожделенном Чёрном море... чёрта ли искал Артём в этих делах минувших дней, но там были его корни и там вершили историю его предки, уложившие свои кости в фундамент имперских вожделений, да и вообще – заглядывать в прошлое было для него интереснее, чем наблюдать за настоящим, заглянуть же он, будучи историком, мог куда угодно, и более всего интересен был ему Левант Мурза, татарский князь, коего кровь он перенял... простой советский парень с татарскою княжескою кровью в венах! и комсомолец, кстати! – комсомольские дела его, впрочем, ничуть не увлекали, и нудным собраниям предпочитал он всё же *Историчку*, где ежедневно узнавал много интересного, выстраивая потихоньку свою родословную и разделяя на ручейки и речки собственную кровь, – её потоки неслись вдаль и разливались вширь и, если Хаджи Селим Гирей, четырежды самовластный правитель Крыма и сын хана Бахадыр Гирея, писавшего чудесные стихи о райских кущах и сладчайших пери, так и не был ясен, поскольку фигура его едва различалась в глубокой тьме веков, хотя и*

представлялась на вековых миниатюрах, то уж с Левантом Максудовичем во всяком случае намного легче было разобраться, более того, Артём дорыл даже до дедушки своего дедушки – Мустафы Мурзы, который, как выяснилось, был тем самым офицером, который... впрочем, лучше рассказать об этом спокойно, придерживаясь надлежащего порядка, поскольку в деле были не только крымские князья и сам Государь Император, подаривший юному поручику саблю с золотым эфесом, но и некие враждебные силы, сумевшие донести сию саблю аж до космической поры, – а о силах тех следует сказать особо, ибо их пример свидетельствует о неотвратимости возмездия, пусть даже и пришедшего спустя десятилетия; итак: во время войны Четвёртой коалиции, которая началась в самом конце 1806 года, муфтий Крыма Муртаза Челеби проявил, что называется, инициативу, красиво уложенную в романтико-патриотическую упаковку, и предложил местным мурзам подать прошение на Высочайшее имя с просьбой о разрешении устройства известного количества полков с воинами *из себя* – для защиты любимого Отечества, – полков конных и снабжённых всяческим довольствием на личный счёт, то есть существующих иждивением общины; добрая воля сия была одобрена, надобно сказать, не только знатью, но и всем мусульманским населением полуострова; это прошение или, лучше сказать, просьбу повёз в Санкт-Петербург молодой поручик Мустафа Мурза, прежде столицы захвативший за благословением в Одессу к исполняющему должность Херсонского военного губернатора маркизу де Траверсе, снабдившему гонца рекомендациями к министру военно-сухопутных сил Феншау; экипирован Мустафа Мурза был основательно: имея при себе кремнёвый пистолет, татарский нож и экзотический кулюк, он мог, наверное, не опасаться ни лихих людей, ни хитрых мошенников, ни даже коварных девиц, завлекающих простодушных пилигримов несравненною красою, – за молодую жизнь свою он мало горевал, послания же и подарки, назначенные Государю, готов был защищать любой ценой, в том числе и силою оружия; грамотки к державному двору зашил ему в подкладку чекменя лично муфтий Челеби, а драгоценный презент Его Величеству – золотой перстень с гигантским изумрудом, принадлежавший по слухам самому Султану Гийасу ад-Дин Мухаммеду, или как звали его русские – великому хану Узбеку, достопочтимому правителю Улуса Джучи, – был надёжно спрятан на груди гонца – в кожаном мешочке и соседствовал с другим мешочком, наполненным священной землёю, взятою из Старого Крыма, или Солхата, или Левкополя, с того места, в непосредственной близости которого стояла и по сей день стоит легендарная Белая Мечеть; а дорожная казна поручика упрятана была в тайных карманах чекменя с тем, чтоб нетрудно ему было достать при необходимости монету-другую... шестьдесят шесть дней рысил на своём арабском скакуне гонец, и за эти дни познал он малярию, беспмятство и лихорадку, трижды умирал от голода на безлюдных переходах, дважды тонул, переправляясь через реки, и однажды подвергся нападению разбойников, с коими сражался дерзко, отчаянно и даже бесшабашно, – разбойников случилась дюжина, это уж он после их трупы перечёл, а спервоначалу супостаты брали верх, ведь они воевали шашками и саблями, а у нашего поручика имелись только нож, кулюк, да древний кремнёвый пистолет, изготовленный, кажется, ещё в петровских даях, и вот этот пистолет в начале схватки, как водится, дал хозяину осечку, потому и пришлось Мустафе Мурзе взяться за бешеный булат, – в правой руке он держал кулюк, а в левой – нож, и так, отбиваясь, завладел вскоре одной из шашек неприятеля; тут пошла такая рубка, что лихие люди уж и пожалели о войне, думая просить о мире, да поручик не в шутку разошёлся, чужья кровь врага – так махал трофейной шашкою, как машут лишь в крайнем озлоблении, да и ясно, ведь он оборонял не только грамоты царёвы, перстень с изумрудом да казённую казну, но и честь свою, – а татарская честь немало стбит! – вот за честь и отдал Мустафа Мурза палец с правой своей кисти, пусть покоится с миром героический мизинец! – отсекли его враги в смертельной схватке, и с тех пор, кстати говоря, на веки вечные получил поручик прозвище своё – Четырёхпалый, так звали его с того дня по самую по смерть – Мустафа Мурза Четырёхпалый,

даже и тогда, когда стал он на Восточной войне уж и полковником; и вот, придя в столицу, утомлённый посланец полуострова явился, как и было предписано ему, к министру сухопутных сил Феншау, который испросив аудиенцию, представил гонца лично Императору, и Монарх заинтересованно беседовал с поручиком пятьдесят девять минут и столько же секунд, расспрашивал о дорожных приключениях и ужаснулся, увидев руку с утраченным мизинцем, – пришлось поведать Государю о коварном нападении врага, о голоде и холоде в дороге, да о засеках любимого коня, к слову пришлось и утопление при переправе, и лихорадка, настигшая в Москве, и Его Величество так проникся и так хвалил мужество гонца, что наряду с богатыми подарками для мурз и лично для муфтия, милостиво даровал бравому поручику саблю с золотым эфесом, вложенную в ножны благородного бука, обтянутые нежным сафьяном и украшенные серебряною бутеролью, золотой же эфес блистал звёздчатым рубином-кабошоном – в окружении более мелких, но чудесно окрашенных затейливою природою камней, – дав по окончании аудиенции для целования свою царственную руку, Государь отечески благословил верного слугу; тут надобно подробнее аттестовать дарованную саблю, увезённую вскорости на полуостров: клинку Мустафа Мурза Четырёхпалый дал имя – Неподкупный, сей клинок имел на *заставе* царёву надпись *не Намъ, не Намъ, а токмо Богу одному*, хоть и суждено было ему служить всё-таки и Царю, и Отечеству, – однако же под словом *Бог* Мустафа Мурза Четырёхпалый разумел – *Аллах*; и вот этот Неподкупный, бездействуя вначале, во всей своей красе показал себя уже впоследствии, когда вновь открылись действия противу французов: от прусской границы Симферопольский коннотатарский полк перешёл летом 1812 года прямо на театр военных действий, в корпус атамана Платова и имел баталии при Могилёве, Рузе, Можайске и Бородине, а уж когда неприятель сделал ретирад, дав нашим молодцам арьергардный бой ввиду Тарутина, тогда уж военную страсть героев наших никак нельзя было обуздать, – разбив неприятеля при Юрбурге, они форсировали Неман и пошли далее громить врага в составе корпуса герцога Александра Вюртембергского, особо отличились под Данцигом после длительной его блокады, а по окончании войны бравый поручик, ставший, между прочим, вследствие своих подвигов уже штабс-ротмистром, а ко времени возвращения на полуостров 5-го октября 1814 года даже ротмистром, привёз домой, в Старый Крым, клинок, коего одно лишь грозное именование уже наводило страх на представленных ему врагов, – сей клинок перешёл со временем к сыну Мустафы Мурзы – Максуду, перенявшему от отца не только роковую сталь, но и воинскую доблесть, и так, спустя ровно сорок лет блистал Неподкупный под Балаклагою, когда brave кавалеристы Уральского казачьего полка атаковали шотландскую пехоту генерал-майора сэра Кэмпбелла, – и то были ещё не все подвиги легендарного оружия, воевавшего славу хозяевам своим и пролившего по иронии судьбы – через полтора века от дарения – кровь последнего владельца; дело было так: когда юный Левант связался с демоническим Гершуни и, очертя голову, кинулся в эсеры, Неподкупный остался без призора и, желая обеспечить судьбу его, новообращённый террорист вынужден был снести саблю Энверу Мурзе, младшему брату своему, а сам отбыл в Петербург, где получил вскоре новенький бельгийский браунинг и, спустя несколько дней выйдя с Большой Морской, направился по слегка влажной площади Синего Моста к Мариинскому дворцу, чтобы без сожалений и сомнений убить Дмитрия Сипягина, да будет имя его во веки веков стёрто из памяти потомков... брат Энвер, не особо надеясь на замки и запоры своего поместья, простодушно порешил: зарыть саблю в усадебном саду, на границе меж вишнёвою и грушевою делянками, тем более что в Крыму стало в последнее время беспокойно по причине появления непонятно откуда множества разбойников, которые беззастенчиво алкали добра незнакомых им семей; таким образом, Неподкупный был зарыт – без почестей, ружейного салюта и скорбных плачей, а потом... потом случилось невообразимое... глубокой осенью 1901-го или, всё-таки, уже зимою 1902-го Левант Максудович уехал в Петербург, – саблю Энвер Мурза похоронил по первому морозцу, –

трава тем утром была покрыта инеем, а земля уже схватилась ледяною коркою... так по весне в том месте, где покоился клинок, проклюнулся какой-то прутик, в течение лета поднявшийся вровень с усадебной стеной; Энвер Мурза хотел его уничтожить как сорняк, однако, остерёгся, и верно поступил – Господь берёт: весной деревцо буйно зацвело таким же точно цветом, каким цвели соседние вишневые ветки, в конце лета, стало быть, появились на дичке вишни, да не вишни, а самые настоящие рубины! созревая, они падали в траву и уходили вглубь земли... это невыносимо, бабушка! – шептал Артём, – что ты, прости Господи, несёшь, ведь мы в институте марксистко-ленинскую философию зубрим! – а ты не перечь бабушке, птенец, – отвечала она, нисколько не смущаясь, – что ты видел в этой жизни вообще и как можешь судить о том, чего не видел? говорю же – самые настоящие рубины, более того, – отменной кондиции в смысле ювелирном; и надо же тебе сказать, что летом семнадцатого года, ещё до переворота стали являться к Энверу Мурзе странные люди с наглыми посулами, а зимой восемнадцатого в Крыму случился голод, потому что большевики обложили полуостров непосильной данью – словно бы в отместку за давние бесчинства Золотой Орды, и даже продкомиссар Симферопольского ВРК публично признавал, что невозможно же одной маленькой Тавриде кормить 20 голодающих губерний, 10 железных дорог и 150 фабрично-заводских районов, не говоря, между прочим, о Москве, Петрограде и отдельно посчитанной Финляндии; крестьян обязали сдать недоимки, накопившиеся с 1914 года, а на зажиточных граждан наложили контрибуции, которые невозможно было заплатить... Энвер Мурза задумался... когда же до Старого Крыма докатились глухие слухи о бессудных расправах в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Ялте, о дикой резне на Черноморском флоте и зверских убийствах в Севастополе, он всё понял, как, впрочем, понял уже летом, хотя летом и оставалась какая-то надежда; тайком выбравшись февральской ночью из поместья, прошёл он, аки тать в ночи, до окраины посёлка и ступил на старую земскую дорогу, которая повела его к Османову Яру и побежала дальше мимо Сарытлыка и Кара Буруна в направлении Коктебеля, где жили дальние родственники его, люди надёжные и строгие, у которых он чаял просить убежища с тем, чтоб пересидеть смутное время невдалеке от фамильного гнезда; когда же большевиков через некоторое время выперли с завоёванных пространств, он тою же тропой вернулся в Старый Крым, в своё разорённое поместье; деревья в саду, слава богу, враг не тронул, кому бы они были нужны, когда богатый дом давал мародёрам широкие возможности: всё было разграблено, разбито, испорчено и даже драгоценный Айвазовский, висевший на стене в гостиной и изображавший Синопскую баталию, подвергся казни, словно разбойники считали позорным и тягостным для себя поминание о державной русской славе; Энвер Мурза, погоревав, навёл порядок в доме, но как-то уже без энтузиазма, без искры и без вдохновения, потому что предчувствие диктовало ему такие опасения, прислушавшись к которым нужно было прочь бежать из этой бучи – без оглядки, голову сломя, только бы выжить, только бы преодолеть морок и выбраться из средневековой тьмы наползающего сатанизма... но он всё медлил, всё чего-то ждал... жаль было ему родных могил, которых впереди ждёт запустение и гибель? или – Белой мечети, не забывшей его далёких предков? близких сердцу крымских гор, какие в мире затруднительно сыскать? а то, может, жалел он свою кровь, оставляемую навеки в окрестностях Куршум-Джами да посреди развалин каравансарая и старого монетного двора... кто знает! а он всё сомневался и не знал, что делать – до тех пор, пока полуостров снова не заняли большевики, и он опередил их всего-то на несколько часов: вышел в сад, подрыл корни псевдо-вишни, вынул из земли завернутую в полусгнившие промасленные тряпки саблю, набрав попутно пригоршню ушедших в глубину рубинов, да и бежал в Симферополь, надев батрацкие лохмотья и вываляв в грязи ладони, – так, чтобы чернота вошла под ногти; в столице скрывался он некоторое время у друзей, а потом – сумел сесть в поезд и уехать, несмотря на облавы и убийства прямо в здании вокзала; многие десятилетия не знал он, что именно происходило тогда на полуострове и не

понимал хорошенько какой опасности сумел он избежать, – маленькая женщина с зелёными глазами, бывшая учительница, к слову, читавшая когда-то детям Пушкина, Лермонтова и Некрасова, вломившись с бандою хмельных матросов к нему в дом, постановила: изъять фамильную усадьбу для нужд организуемой в посёлке сельскохозяйственной коммуны, а бывшему владельцу в течение суток – покинуть территорию, – Энвер Мурза надумал было спорить, да аргументом в споре с противной стороны через мгновение стал революционный маузер, запросто приставленный к его покрывшемуся потом лбу... это уж потом пришлось Энверу сознать случившееся чудо, ибо он не должен был остаться живым... кто бы мог подумать, что эти два потока крови, клокотавшие друг напротив друга, уже слились тогда, слились навеки и понесутся скоро дальше в неведомые дали вечности – вместе, вместе, вместе, ибо маленькая женщина, Евлампия Осиповна, по мужу Соколова, была супругой того самого эсера, одного из щеголявших белою подкладкою, – который со свояком привёз в дом батюшки спасённого от виселицы Авеля Акимова, – нам, слыша это имя, надо ль вспоминать, кто это такой, потому что мы и без того прекрасно знаем: под этим именем скрывался князь Левант, а если сказать – Левант Мурза, то станет ясно, что сей борец за народное цветение никто иной как брат Энвера... сам же он, Энвер Мурза, с тех пор получил прозвище Счастливым, каковое прозвище стёрла только его нелепая погибель в возрасте восьмидесяти лет – в день полёта, между прочим, первого в мире космонавта; таким образом, стоя уже посреди разлившейся по Крыму безвинной крови и лишь едва заглянув в зелёные глаза родственницы-смерти, младший брат еле-еле спасся и поехал не куда-нибудь, а напрямик в Москву, полагая, что большой город поможет ему лучше затеряться; с огромными предосторожностями и, конечно, трясясь всякий раз при виде солдатско-матросских патрулей, Энвер Мурза Счастливый чудом добрался до Москвы, где сначала скрывался по окраинам и ночевал в трущобах, а потом сошёлся с беспризорными, которые свели его через время с настоящими бандитами, – бандиты звали князя в шайку, видя фанатический блеск в глазах своего нового знакомца и подозревая в нём кипение страстей, но Энвер Мурза Счастливый, вежливо благодаря, просил только пособить с бумагой и обещал щедро расплатиться в случае получения надёжной *ксивы*; бандиты порадели, и опальный князь вскоре вышел в мир с чистым документом на имя Самвела Варданяна, что вполне соответствовало его нерусской внешности; новоиспечённый Варданян так был рад, что не поспешил при расчёте и уступил благодетелям своим аж три замечательных рубина, против одного, оговорённого вначале, – после этого он быстро устроился работать в Трест резиновых изделий – техником-штамповщиком – и клепал целыми днями на полуавтомате какие-то необходимые народному хозяйству резиновые втулки, вкладыши и кольца; жильё получил он в общежитии металлургов, которые были побратимами резинщиков и жили вместе, только на разных этажах, – так тихо-мирно прошло время, и он даже едва не женился на хромой Лизке-инструментальщице, выдававшей работягам метчики и свёрла; как-то заманила она его в инструменталку с недвусмысленною целью и, откровенно следует сказать, вполне её достигла: прямо на полу, посреди кучи индустриального хлама Энвер Мурза Счастливый познал горечь интимного общения с *девушкою из народа*, – она взяла его нахрапом, цинично, грубо, нагло, а он не смог противопоставить ей благородную княжескую сущность и не удержал, естественно, в критическую минуту свою вспыхнувшую плоть... да и разве это вообще возможно? так ходил он к ней время от времени в инструменталку – до тех пор, пока не застал её там с токарем Приходько... картина была юмористическая: она невозмутимо встала и надела синий производственный халат, меж тем как токарь пытался побыстрее припрятать свой метчик и всё путался в трусах, – он был смущён, она – ничуть; Энвер Мурза Счастливый с недоумением глядел на сцену и этот театр его не вдохновлял, с того дня всё у них расстроилось, но Лизка не отстала, а продолжала помогать; Энвер Мурза Счастливый думал поменять работу, чтобы избавиться от вздорной бабы, однако не успел, она его опередила – стукнула в отместку куда следует, будто бы он воруёт свёрла, и загремел

тайный князь, оправдывая своё замечательное прозвище, в места, где царствуют заснеженные сосны – сроком на три года, и то именно здесь счастье, что загремел, как *социально близкий*, а не политический; сабля же фамильная и драгоценные рубины покоились у него в надёжном схроне возле подмосковных шлюзов, так что он смиренно принял предательский удар, с некоторым, правда, недоверием приняв перемену участи; спустя три года, *откинувшись*, вернулся Энвер Мурза Счастливый в мир, только не в Москву, а на сто первый километр, так как в столицу путь ему отныне был заказан, и впоследствии аж тринадцать лет отпахал наш *вельможный князь* простым слесарем на МТС... потом грянула война и он, будучи уже в годах, записался в ополчение, – сначала работал на стройке Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа, а после воевал и дошёл даже до Варшавы, был награждён орденами и медалями... гордись, внучек, – сказывала бабушка, – предками своими и не забывай: их кровь клокочет в твоих жилах... и вот герою смертных сражений Самвелу Варданяну дали после войны в Москве жилплощадь, закрыв глаза на его сомнительное прошлое, которое он сполна оплатил в народной битве, – жилплощадь представляла собою комнатку в коммунальной квартире на Пречистенке – два на четыре метра, длинную, как пенал, и такую же скудную, – если в школьный пенал помещались ручка, ластик и несколько карандашей, то в комнате у бывшего князя были только кровать, стол и два корявых стула, – никаких излишеств... правда, в углу комнаты, под полом покоилась надёжно спрятанная наследственная сабля, подаренная в доисторические времена Государем Императором прославленному воину Мустафе Мурзе Четырёхпалому; там же лежал и кожаный мешочек с драгоценными камнями; в 1957-ом году Энвер Мурза Счастливый, в который уже раз оправдывая своё замечательное прозвище, получил ключи от новой однокомнатной квартиры – в Черёмушках, на улице Гримау, дом 16, а то была, между прочим, первая в стране «хрущёвка», – вот и оправданье прозвища, и наш герой, испытывая чувство законного удовлетворения, с радостью переехал в индивидуальное жильё, вкус к которому он уже давно забыл; фамильная сабля была извлечена из тайника и торжественно повешена на купленный по случаю втридорога настенный ковёр из натуральной шерсти, мешочек же с рубинами носил он с этих пор на шее – на шёлковом гайтане и уже, можно сказать, ничего и не боялся, так как совсем недавно прошёл Двадцатый съезд, и каждый советский человек в связи с этим как-то непроизвольно расправил свои низко опущенные плечи, ежеминутно опасавшиеся ранее государственной нагайки; эта необоснованная смелость его и подвела, – он беспечно приглашал в свою квартиру особо полюбившихся соседей, которые всякий раз восхищались антикварной саблей, висевшей на почётном месте поверх дефицитного ковра, хоть и не видели в ней ничего кроме занятой *штучки* и не знали, что древний клинок имеет гордое имя – Неподкупный, да и что вообще мог понять рядовой советский обыватель, глядя на эту обagrённую когда-то кровью сталь да читая на её поверхности *не Намъ, не Намъ, а токмо Богу одному*... зачем было водить к себе соседей? вопрос! – денег, от них, что ли, прибавлялось? – а потом Никита Сергеевич Хрущёв сказал: советский человек должен быть первым в космическом пространстве, и мы это первенство американцам не уступим! так 12-го апреля 1961 года наш улыбчивый Гагарин и сказал «поехали!», а Энвер Мурза Счастливый словно услышал: тоже собрался и поехал, или точнее сказать – пошёл, не зная ещё, что Клото спряла, Лахесис отмерила, а Атропос подняла свои ножницы или что там у неё, чтобы перерезать его жизненную нить... впрочем, и вообще не смог бы он выйти в этот день на улицу, если б Гагарина-мальчишку угнали во время оккупации в Германию, как угнали его брата и сестру... вот что тогда было б с ним, с нашим первым космонавтом? – и вообще судьба вела его от одного смертного случая к другому, не особо заботясь об исторических последствиях – может, и был «Восток» гениальным творением Сергея Королёва, да только американцы наступали нам на пятки, – посему космический наш лайнер сооружался в спешке и с кое-какими важными недоработками... вот не было у него, в частности, системы аварийного спасения на старте и системы мягкой посадки, не

было дубль-тормозов, а системы жизнеобеспечения рассчитывались всего на десять суток... а если бы Юра в космосе застрял? – когда корабль поднялся на орбиту, не сработала система управления, ответственная за выключение каких-то там движков, которые не должны были в тот момент работать, – из-за этого наш первопроходец оказался на сто километров выше расчётной высоты, а сход с такой орбиты мог занять до пятидесяти дней... бедный Юра! – парень по лезвию ножа ходил, и жизнь его в эти полтора часа полёта зависела от множества случайностей: на обратном пути перед входом в атмосферу он, к примеру, просто падал, потому что взбесившаяся автоматика запретила штатное разделение отсеков, и в течение целых десяти минут корабль просто кувыркался, – лишь когда он вошёл в плотные атмосферные слои, выгорели соединительные кабели и спускаемый аппарат отделился от функционального отсека, но и это ещё не было финалом испытаний: от трения о пустоту загорелась обшивка эвакуационной капсулы, за бортом бушевал истинный пожар, а по стёклам иллюминаторов текли ручейки жидкого металла, – можно предположить, что чувствовал Гагарин... он даже сказал фразу «я горю, прощайте, товарищи» или что-то в этом роде, – фразу засекреченную впоследствии на десятилетия... а потом он катапультировался и в процессе сближения с Землёй чуть не задохнулся, так как в скафандре у него с опозданием открылся клапан для забора воздуха... и каждый такой смертельный миг отодвигал на время гибель Энвера Мурзы, не зря, видимо, получившего когда-то прозвище Счастливый, Энвера Мурзы, который, не узнав ничего о триумфе советской космической программы в случае краха полёта нашего космонавта, не пошёл бы приветствовать его, как и тысячи других людей, а остался б дома, но – судьба хранила до поры до времени героического Юру, хотя и ставила иной раз на самый край опасной бездны, – даже и в самом конце он едва не погиб, а уж это было бы такой досадой, – всё вынести, победить и в конце концов бездарно утонуть в холодной Волге, потому что именно туда нёс парашют космического пионера... однако, слава богу, всё кончилось благополучно и *вариант номер три* сообщения ТАСС не пришлось публиковать... да ведь ты не знаешь, что такое *номер три*, говорила бабушка Артёму, так придётся рассказать: накануне полёта наше родимое правительство заготовило три сообщения для Телеграфного агентства Советского Союза: первое – о победе отечественной космонавтики и успешном приземлении Гагарина, второе – о неудаче с выводом ракеты на орбиту и экстренной её – ракеты, разумеется, – посадке, ну, и третье – о трагической гибели пилота; тексты сообщений были запечатаны в специальные конверты, помеченные номерами, и по результатам полёта руководство ТАСС должно было вскрыть лишь тот конверт, номер которого озвучит Кремль, и вскрыт был конверт под номером *один*, – так что всё благополучно завершилось, и только Энвер Мурза Счастливый, единственный из миллионов, оказался в этой ситуации *несчастливым*, потерявшим всё, ибо не выйдя он 12 апреля 1961 года в 3 часа 17 минут пополудни на шумящую и кричащую улицу Гримау, чтобы влиться в ликующие народные толпы, может, и прожил бы он ещё лет десять-пятнадцать, доехавши как-нибудь тихим ходом до эпохи развитого социализма со своей повышенной пенсией в сто тридцать полновесных рубликов; хотя он и без того был богач, ведь одного проданного в ювелирной скупке природного рубина хватало ему на целый год, но... случилось то, что случилось, и в час, когда уставший и замученный всеобщим вниманием Гагарин на «Ил-14» вылетел с аэродрома Энгельса в тогдашний Куйбышев, Энвер Мурза Счастливый покинул квартиру, тщательно замкнул её и отправился на улицу, – улица кипела, везде играла музыка, толпы людей шли в разных направлениях, граждане кричали, пели песни, судорожно и порой без видимых причин вдруг принимались хохотать, а то даже и обнимали с поцелуями друг друга, и при этом им совсем не нужно было сей же час знакомиться, – Энвер Мурза Счастливый, столько лет проживший под армянским именем, с восторгом влился в этот бушующий поток братских наций и поплыл, выкрикивая здравицы герою космоса и родному советскому правительству; он хотел добраться до автобуса и поехать в центр, на Манежную, а оттуда выйти на Красную площадь... трудно

представить себе, что творилось там в эти минуты безоблачного, безграничного, какого-то детского счастья, и действительно – там творилось невообразимое! однако на Красную площадь Энверу Мурзе Счастливому в этот день не суждено было попасть: шагая в толпе, он почувствовал озноб и осознал, что бедная его старческая голова – без шляпы! – память-то плохая, вот он шляпу дома и забыл! надо вернуться, – думал он, – апрельский ветерок прохладен, стало быть, на нём вмиг простуду и ухватишь, – принесёт чёрт какую-нибудь заразу и лежи потом с температурой! – он выставил локти и стал продираться сквозь людской поток назад – вдоль по улице Гримау, а поток был плотен и оказывал ему сильное сопротивление, но так или иначе боевой старик преодолел безмерное ликование народа и добрался-таки до своего дома, – вынимая на ходу ключи, он подошёл к обшитой дерматином двери и с удивлением обнаружил её уже открытой... сердце его дрогнуло... ступив в комнату, увидел он стоящего на кровати в ботинках незнакомого молодого человека, который как раз снимал с ковра драгоценную реликвию – древний клинок, вот уже две сотни лет носящий гордое имя – Неподкупный, клинок, вложенный в ножны благородного бука, обтянутые нежным сафьяном и украшенные серебряною бутеролью; луч солнца, уже начавшего клониться к закату, выйдя на миг из-за низких облачков, блеснул в звёздчатом кабошоне, окруженном мелкими, но чудесно окрашенными затейливою природою камнями... у старика перехватило горло... он шагнул в сторону вора, а тот, проворно спрыгнув с высоты, шагнул ему навстречу... Энвер Мурза Счастливый протянул руки и вцепился в клинок, пытаясь вырвать его из пальцев непрощенного пришлеца, но вор рванул саблю и с силой отпихнул старика... Энвер Мурза Счастливый устоял и опять ринулся в бой, да что может старость, пусть и несколько крепкая ещё, противу цветущей юности, сытой наглости и куража? – злоумышленник сделал шаг вперёд, на ходу выворачивая саблю, замахнулся во всю руку, круша попадающиеся на пути предметы и с грохотом обрушивая чашки, поднял клинок почти к самому потолку, напрягся... и... Энвер Мурза Счастливый не вспомнил в это мгновение свою прошедшую так быстро жизнь, она не пронеслась, вопреки расхожему мнению, вся и целиком в его уже почти потухшей памяти: ни брата не увидел он, который, можно сказать, подвёл-таки его под монастырь, ни революционную комиссаршу Евлампию Соколову, едва не прострелившую ему башку, ни хромую Лизку с её уродливой любовью, ни лагерных урок, ставивших любого непокорного на нож, ни директора МТС, в пьяном виде кричавшего иной раз на мехдворе *да здравствует товарищ Сталин!*, ни своего комвзвода, заваленного в Сталинграде бетонными плитами обрушенного дома, ни импульсивного Никиту Сергеевича Хрущёва, виденного пару раз на экране маленького соседского «КВНа», ни даже Юрия Гагарина, фото которого ещё успел он разглядеть в утренней газете... а вспомнил он... да, вспомнил он... древние, сложенные из местного пористого камня стены Белой мечети хана Узбека, или Султана Гийаса ад-Дина Мухаммеда, жестокого правителя Улуса Джучи... почему вспомнил он именно мечеть, её изукрашенный портал и её стройный минарет, словно гагаринская ракета протыкающий бездонное небо? – то была его земля и земля предков, хотя бы и не знал он, да откуда ж ему знать? – что во времена правления хана Узбека, который, к слову, воцарился на золотоордынском троне, зарезав племянника – царевича Иксара, законного, между прочим, наследника престола, – не знал, что Орда в те годы достигла наивысшего расцвета, а караванные пути в богатые страны благодаря новому правителю стали безопасными, удобными и скорыми – отсюда шли дороги в Русь, в Европу, Индию, Китай, Египет и Малую Азию, а хан Узбек или помусульмански Султан Гийас ад-Дин Мухаммед обожал, обрядившись в одежды простолюдинов или дервишей, выходить на караванные пути и ненавязчиво инспектировать торговцев; так однажды, разгуливая по пыльной тропе, ведущей в неизведанные дали Востока и Запада, встретил он багдадского купца, идущего с Тибета, и остановил его в надежде узнать, что везёт тот в своих выдавших виды полосатых курджунах, но надменная речь была ему ответом: кто ты такой и как смеешь задавать мне подобные вопросы? а в курджунах моих, так и быть,

мол, снизойду уж до тебя, такое богатство, коего самую малую толику ты не в состоянии приобрести, проваливай посему, куда цел и не засти путь уставшим пилигримам, на что хан Узбек спокойно возразил: не только малую толику курджунов сих могу я приобрести, но и весь товар, даже вместе с верблюдами и мулами, а спесивые твои ответы мне и вовсе не нужны, ибо запах товара ясно указывает на его именованье... в самом деле, говорила бабушка Артёму, – к чему были эти хитрые вопросы? ведь ещё Саади сказал: имеющий в кармане мускус, не кричит об этом на улицах, запах мускуса говорит за него, – и я думаю, снова говорила бабушка, что всевластный правитель Улуса Джучи очень даже знал сладкопевного Саади... мускус, драгоценный мускус был в курджунах этого купца, так ему вынесли столь золота, сколь весил весь его товар; гордый купец отбыл восвояси, мускус перешёл в ханские хранилища; так прошло немного времени и правитель порешил строить в Кырыме, то есть в том месте, которое ныне зовётся Старым Крымом, Белую мечеть, а в основание её, в связующий раствор и краски покрытия ввести мускус, купленный у надменного купца, вот мечеть и выстроили так, как повелел правитель, – столетия спустя она всё благоухала, – в тёплую погоду, греясь на солнце, она источала такие ароматы, которые слышны были в соседних поселениях, а после грозы, ливня или даже мелкого дождя влажные волны сливочно-пряного воздуха достигали побережья и смешивались с фиолетовыми волнами моря, убегающими в сторону Константинополя, Варны и Синопа, моря, которое шумело всегда и привечало на своих берегах разные народы; эта земля была перекрестием эпох – времена сходились тут и расходились, столицы возникали и своим часом повергались в прах... и Энвер Мурза Счастливый, в коротких штанишках и с восторженно раскинутыми руками посреди слепящего и выцветшего почти до белизны мира пробежал в последние мгновенья жизни по запылённым улочкам родного городка, своей очарованной столицы, – вдохновлённый и переполненный бездонным счастьем, стремясь поскорее долететь до ароматной громады, взметнувшей в небо торжественный минарет и прижаться щекой к тёплым камням, которые помнили, – не могли же не помнить! – юную Гульнур, застигнутую ливнем под этими стенами – поздним летом 1814 года, спустя ровно полтысячелетия после возведения мечети, а точнее – 23 августа 1814 года, – беременную Гульнур, бежавшую грозы; она сидела, прижавшись спиной к благоухающим камням, и вглядывалась в чёрные платаны, прячущие горизонт, – над деревьями громоздились чернильные тучи и только в самом конце неба горела багрянцем узкая полоска заката; рядом с Гульнур сверкнула молния и загрохал гром, она закрыла глаза и стиснула руками уши... пространство перед мечетью было пусто, и сумерки сгустились так, что тьма грозила отовсюду; Гульнур чувствовала какой-то первобытный ужас, толкающий её в пах, и резкие боли, блуждающие в глубине тела... спазматические позывы заставили её лечь вдоль стены и, полежав с минуту да собрав силы, она разодрала свою одежду... спазмы усилились... у неё уже не оставалось мужества, потому что боль переполняла тело, и тогда она закричала, пытаясь превозмочь свой ужас, закричала диким, срывающимся в хрип криком, – ведь смерть в такие моменты всегда стоит за жизнью, а Гульнур боялась смерти, боялась – и, чтобы откупиться от неё, чтобы отогнать её подальше, она снова закричала, выталкивая криком невыносимое бремя, загородившее ей мир, она кричала, перекрывая криком шум ливня, раскаты грома и звуки сражений, которые шли в эти мгновенья на планете... которые уже прошли и которые ещё только будут... она кричала и кричала, и её крик был громче шума землетрясений, извержений вулканов, падения астероидов и гибели Вселенной... последнее усилие, резкая боль, крещендо крика и... она почувствовала внезапную пустоту! свободу! – и ощутила умиротворяющее блаженство... в этот миг ребёнок закричал – обиженно и с каким-то даже осуждением в голосе... она приподнялась, взяла младенца, уже слегка отмытого дождём от утробной белой слизи, – девочка! – с восторгом подумала она... поднесла к лицу, внимательно осмотрела и в отражённом свете белой стены увидела маленькие пальчики, крохотные пяточки и сморщенное личико... она перегрызла пуповину и положила ребёнка поверх груди... так

появилась Эмине, на которой спустя шестнадцать лет женился Мустафа Мурза Четырёхпалый, пленённый её красотой и необычайным ароматом, – она пахла так, как пахнут ванильные стручки, от века произраставшие на Мадагаскаре, в Индонезии, Китае, как те волшебные стручки, которые культивировали в незапамятные времена ещё ацтеки, молившиеся им такими словами: о, волшебные зелёные стручки, вы вкусны, прелестны, прекрасны, чудесны, изумительны, хорошо сложены, неплохо исполнены, пусть род ваш пребудет во веки веков... колдовские стручки, которым ацтеки знали истинную цену, – использовали их как деньги, а во времена Монтесумы даже собирали ими налоги... итак, она пахла, как ваниль, как смесь пряностей, в которых звучат нотки не одной лишь ванили, но и аниса, гвоздики и имбиря, в этом запахе отзывались бежевые сливки, белое молоко, свежесделанная кожа и едва спиленная древесина, в нём была некая горчинка, осторожно наложенная на сдержанную сладость, это был животный запах, тот, что доминирует в природе – острый, возбуждающий, но и одновременно – очень человеческий, располагающий к созерцанию, умиротворению, покою, – и всё это был мускус; Мустафа Мурза Четырёхпалый видел её совсем малышкой и уже тогда слышал этот запах, от которого у него кружилась голова, а потом видел её многожды и даже специально ходил к дому Гульнур ханым и её досточтимого супруга Мансура эфенди, чтобы, если повезёт, вновь увидеть прекрасного ребёнка; когда Эмине исполнилось шестнадцать, он заслал сватов, – а ему, к слову, в восемьсот тридцатом было далеко за сорок, но Мансур эфенди о возрасте не думал, он думал о цене калыма, на который, ему, между прочим, вовсе не стоило претендовать – зря, что ли, в Коране сказано: *отдайте женщинам калым их?* что трактует его, то есть калым, конечно, как подарок невесте, и точно не как платёж отцу; так или не так, но в деньгах не смогли они сойтись, ибо Мансур эфенди хотел получить пятьсот овец, триста коров, двести коз и пять тысяч рублей серебром, говоря сватам: ежели он князь, да к тому же заслуженный военный, владеющий клинком, коего одно имя – Неподкупный – является уже залогом его чести, так пусть же соответствует; сваты ушли ни с чем, а жених как будто бы остыл, однако через время явился тайно на улицу невесты – верхами, ночью, и Эмине сама, тихонько выйдя, отдалась ему в руки с надеждою на попечение и супружеское покровительство, правда, этот случай также требовал соблюдения формальностей – она должна была трижды вскрикнуть и единожды просить о помощи, что и сделала: ойкнула тихонько раз, другой и третий, а потом едва слышно призвала на помощь; Мустафа Мурза Четырёхпалый терпеливо ждал исполнения формальностей, а после посадил невесту сзади, гикнул, свистнул да взмахнул камчой и, уж только обернувшись, углядел свет, мелькнувший в доме, и заметил силуэт Гульнур ханым, беспокойно метнувшийся в окне; следующим утром Мансур эфенди не был уже столь суров, взял прежние свои притязания назад и предъявил просьбу, вполне приемлемую, – достигнув согласия во всём, будущие родственники кликнули муллу, который произнёс необходимые в сём случае слова, затем брачный обряд был совершён в мечети, и поселяне, которых тем годом проживало в Старом Крыму всего-то полтора-два человека, среди коих было тридцать шесть цыган, сплошь, между прочим, музыкантов, – стали готовиться ко свадьбе; в течение трёх дней дом Мустафы Мурзы мыли, чистили и наряжали добровольные помощники, после чего ввечеру, откупорив бутылки и позвав цыган с их бубнами, флейтами, скрипками, гитарами и не забыв при этом цыганят, стали веселиться и праздновать счастливый случай, соединивший украшенного шрамами вояку, воевавшего славу для Отчизны, с юною особою, которая и сама была драгоценным украшением; на следующий день ровно в полдень все находившиеся в доме сели на коней и принялись гарцевать перед дорогой, ожидая маджару, везущую супругу, – ждать пришлось недолго и вскоре в конце улицы явилась свита Эмине – множество телег, на которых ехали почтенные старухи; перед всадниками, среди которых находился и Мустафа Мурза Четырёхпалый, толпились цыгане с цыганятами, – эти люди, выставив вперёд бубны, флейты, скрипки и гитары, встретили свадебный поезд и преградили ему путь, – пятьсот рублей серебром и баста! – музыка гремела,

смех не умолкал, торг разгорелся не на шутку, и уже пятьсот рублей постепенно превратились в пять, – деньги были немедленно уплачены, и свадьбу пропустили; хозяин меж тем поворотил коня и степенно удалился, потому что старинное поверье говорит: ежели жених видит невесту перед свадьбой, то жить ему после этого – недолго; итак, у дома Мустафы Мурзы процессия остановилась, и столетние старухи, сопровождавшие юную супругу, закутали её с ног до головы в платок и вынесли на руках из маджары, цыгане грянули праздничные песни... у порога её осыпали зерном, сладостями и монетами, ввели в дом, и следом вошли гости – все полтора человека, среди коих было тридцать шесть цыган, – и пошло веселье; гости сидели кружками, каждый кружок в отдельной комнатухе, – мужчины, женщины, девушки и парни; старики – в почётном помещении, а Эмине – в своей светёлке, куда должен был вскоре войти её возвратившийся с улицы супруг, которого в это время в присутствии гостей брил цыганский парикмахер – так татарский мужчина прощается обычно с холостяцкой жизнью; потом Мустафа Мурза Четырёхпалый встал и торжественно прошёлся, целуя заскорюзлые руки присутствующих стариков, свидетельствуя им почёт; когда же он подошёл к родителям избранницы, те встали, и слёзы появились в их глазах... Мустафа Мурза Четырёхпалый пристально взгляделся и – заплакал... его отца и матери уж давно не было в живых... скрепившись, он сказал: *целую ваши руки* и чинно поцеловал руки родителям супруги – сначала Гульнур ханым, а потом и Мансуру эфенди, и они радостно благословили его... гулянье шло до вечера, а молодая тем временем молилась в своей красиво убранной светёлке; полночь, как и предписывал обычай, явился к ней супруг и, перейдя порог, сражён был нежным ароматом мускуса: она сидела в середине помещения под плотным покрывалом, – молча и не шелохнувшись, – Мустафа Мурза Четырёхпалый подошёл, снял покрывало и... она сидела перед ним, убранная как царевна, – в бархатном платье с серебряным поясом изошрённой двухсотлетней чеканки, украшенная бусами, кольцами, браслетами, грудь её покрывало драгоценное кольцо, составленное из старинных монет, на голове была феска, расшитая золотом, а на ножках – мягкие кожаные сапоги, отделанные серебряною нитью... он вдохнул её запах: Эмине пахла, как ваниль, как смесь пряностей, в которых звучат нотки аниса, гвоздики, имбиря, в этом запахе отзывались бежевые сливки, белое молоко, свежесделанная кожа и едва спиленная древесина – всё это был мускус; он задохнулся и стал перед нею на колени... да, стал, ничего смешного тут нет, – сказала бабушка, сердито поджав губы, словно Артём специально хотел её обидеть... да! – повторила она с искренней досадой, – он любил её так, как любят единственную ценность в жизни, как женщину и как ребёнка, и не понимал своего многолетнего терпения... шестнадцать лет назад он уже знал, что младенец, орущий на другом конце селения, предназначен ему и предназначен навсегда... впрочем, не буду распинаться, – вдруг резко осадил себя бабушка, – тебя, я вижу, это веселит... добавлю только, что Эмине сделала презент супругу – в день свадьбы подарила ему старинный портсигар из золота с гравировкою на крышке самого Клаубера, – то был чудесный ландшафт, изображавший итальянскую церковь с далёкой перспективой, занятой лесистою, далеко простирающеюся местностью; много лет хранил потом Мустафа Мурза в этом портсигаре папироски, и, открывая его, всякий раз слышал запах только мускуса, а вовсе и не табака... через год у них родился сын, названный Максудом, – соображаешь, в какой ты с ним родственной связи? – десяти лет держал Максуд Мурза экзамен ради поступления в кадетский корпус и успешно поступил, а после, получив при выпуске двенадцать баллов за науки и едва восемь по части поведения, продолжил учёбу в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой хорошо помнили ещё Лермонтова Мишу, юного задиру, прозванного сослуживцами Маешкой, что было корявой переделкой французского слова *моуеих*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.